

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Приваловские миллионы



Дмитрий Мамин-Сибиряк
Приваловские миллионы

«Public Domain»

1883

Мамин-Сибиряк Д. Н.

Приваловские миллионы / Д. Н. Мамин-Сибиряк — «Public Domain», 1883

ISBN 5-699-17741-8

Д.Н.Мамина-Сибиряка (1852-1912) современники сравнивали с крупнейшим французским писателем-натуралистом Эмилем Золя. Но по своей сути творчество Мамина-Сибиряка – явление глубоко укорененное в русской культуре и в русской общественной Жизни. Роман «Приваловские миллионы» (1883) не только натуралистично рассказывает о становлении буржуазии в России XIX столетия, но и создает ряд ярких образов «сибирских характеров».

ISBN 5-699-17741-8

© Мамин-Сибиряк Д. Н., 1883

© Public Domain, 1883

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	9
III	14
IV	17
V	19
VI	23
VII	25
VIII	27
IX	29
X	34
XI	37
XII	40
XIII	42
XIV	44
XV	46
XVI	49
XVII	54
Часть вторая	58
I	58
II	63
III	65
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Приваловские миллионы

Часть первая

I

– Приехал... барыня, приехал! – задышавшимся голосом прошептала горничная Матрешка, вбегая в спальню Хионии Алексеевны Заплатиной. – Вчера ночью приехал... Остановился в «Золотом якор».

Заплатина, дама неопределенных лет с выцветшим лицом, стояла перед зеркалом в утреннем дезабилье. Волосы цвета верблюжьей шерсти были распущены по плечам, но они не могли задрапировать ни жилистой худой шеи, ни грязной ночной кофты, открывавшей благодаря оторванной верхней пуговке высохшую костлявую грудь. Известие, принесенное Матрешкой, поразило Заплатину как громом, и она даже выронила из рук гребень, которым расчесывала свои волосы перед зеркалом. В углу комнаты у небольшого окна, выходящего на двор, сидел мужчина лет под сорок, совсем закрывшись последним номером газеты. Это был сам г. Заплатин, Виктор Николаич, топограф узловской межевой канцелярии. По своей наружности он представлял полную противоположность своей жене: прилично полный, с румянцем на загорелых щеках, с русой окладистой бородкой и добрыми серыми глазками, он так же походил на спелое яблоко, как его достойная половина на моченую грушу. Он маленькими глотками отпивал из стакана кофе и лениво потягивался в своем мягком глубоком кресле. Появление Матрешки и ее шепот не произвели на Заплатина никакого впечатления, и он продолжал читать свою газету самым равнодушным образом.

– Матрена, голубчик, беги сейчас же к Агриппине Филиппевне... – торопливо говорила Заплатина своей горничной. – Да постой... Скажи ей только одно слово: «приехал». Понимаешь?.. Да ради бога, скорее...

Матрешке в экстренных случаях не нужно было повторять приказаний, – она, по одному мановению руки, с быстротой пушечного ядра летела хоть на край света. Сама по себе Матрешка была самая обыкновенная, всегда грязная горничная, с порядочно измятым глупым лицом и большими темными подглазницами под бойкими карими глазами; ветхое ситцевое платье всегда было ей не впору и сильно стесняло могучие юные формы. В руках Заплатиной Матрешка была золотой человек, потому что обладала счастливой способностью действовать без рассуждений.

– Ах, господи... что же это такое?.. Да Виктор Николаич... Ах, господи!.. – причитала Заплатина, бестолково бросаясь из угла в угол.

– Чего тебе?..

– Да ведь ты слышал: при-е-хал...

– Что же из этого?

– Болван! Да ведь Привалов – миллионер, пойми ты это... Мил-ли-онер!.. Ах, господи, где же мой корсет... где мой корсет?

– Отстань, пожалуйста...

– Дурак!.. Ах, господи... Ведь говорила я Агриппине Филиппевне, уж сколько раз говорила: «Мон ange,¹ уж поверьте, что недаром приехал этот ваш братец...» Да-с!.. Вот и вышло

¹ Мой ангел (фр.).

по-моему. Ах! вот пойдет переполох: Бахарева, Ляховские, Половодовы... Я очень рада, что Привалов посбавит им спеси, то есть Ляховским и Половодовым. Уж очень зазнались... даром, что рыльце-то у них в пушку. Вот уж, погодите, подтянет вас, голубчиков, наследничек-то... Ха-ха... Виктор Николаич, дерево ты этакое, слышишь: *Привалов приехал!*

– Да отвяжись ты от меня, ржавчина! «Приехал, приехал», – передразнивал он жену. – Нужно, так и приехал. Такой же человек, как и мы, грешные... Дай-ка мне миллион, да я...

– Отчего же он не остановился у Бахаревых? – соображала Заплата, заключая свои кости в корсет. – Видно, себе на уме... Все-таки сейчас поеду к Бахаревым. Нужно предупредить Марью Степановну... Вот и партия Nadine. Точно с неба жених свалился! Этакое счастье этим богачам: своих денег не знают куда девать, а тут, как снег на голову, зять миллионер... Воображаю: у Ляховского дочь, у Половодова сестра, у Веревкиных дочь, у Бахаревых целых две... Вот извольте тут разделить между ними одного жениха!..

– Бабы – так бабы и есть, – резонировал Заплатин, глубокомысленно рассматривая расшитую цветным шелком полу своего халата. – У них свое на уме! «Жених» – так и было... Приехал человек из Петербурга, – да он и смотреть-то на ваших невест не хочет! Этакое осетра женить... Тьфу!..

– Ничего ты не понимаешь, – с напускным равнодушием проговорила Заплата, облекаясь в перекрашенное шелковое платье травяного цвета и несколько раз примеривая летнюю соломенную шляпу с коричневой отделкой. – Разве мужчины могут что-нибудь понимать? По-твоему, например, Привалов заберется с Иваном Яковlichem к арфисткам в «Магнит» и будет совершенно счастлив? Да? Как Лепешкин, Ломтев... Ведь и ты не прочь бы присоединиться к их компании. Пожалуйста, не трудитесь отпираться... Все вы, мужчины, одинаковы, и меня не проведете! Нет... Насквозь всех вас вижу: променяете на первую танцовщицу.

Заплата круто повернулась перед зеркалом и посмотрела на свою особу в три четверти. Платье сидело кошелем; на спине оно отдувалось пузырями и ложилось вокруг ног некрасивыми тощими складками, точно под ними были палки. «Разве надеть новое платье, которое подарили тогда Панафидины за жениха Капочке? – подумала Заплата, но сейчас же решила: – Не стоит... Еще, пожалуй, Марья Степановна подумает, что я заискиваю перед ними!» Почтенная дама придала своей физиономии гордое и презрительное выражение.

– А ты вот что, Хина, – проговорил Заплатин, наблюдавший за последними маневрами жены. – Ты не очень тово... понимаешь? Пожалей херес-то... А то у тебя нос совсем клюквой...

– У меня... нос клюквой?!

Хиония Алексеевна выпрямилась и, взглянув уничтожающим взглядом на мужа, как это делают драматические провинциальные актрисы, величественно проговорила:

– Если без меня приедет сюда Агриппина Филиппевна, передай ей, что я к ней непременно заеду сегодня же... Понял?

– Как не понять: вам с Агриппиной Филиппевной теперь работа, в чужом пиру похмелье...

Семья Заплатиных в уездном городке Узле, заброшенном в глубь Уральских гор, представляла оригинальное и вполне современное явление. Она являлась логическим результатом сцепления целой системы причин и следствий, созданных живой действительностью. Эта семья, как истинное дитя своего века, служила выразителем его стремлений, достоинств и недостатков. Виктор Николаич был сын сторожа, отставного солдата. Кое-как, с грехом пополам, выучился он грамоте и в самой зеленой юности поступил в уездный суд, где годам к тридцати добился пятнадцати рублей жалованья. По тому времени этих денег было совершенно достаточно, чтобы одеваться прилично и иметь доступ в скромные чиновничьи дома. Последнее, ничтожное в своей сущности обстоятельство имело в жизни Заплата решающее значение. На одной из чиновничьих вечеринок он встретился с чрезвычайно бойкой гувернанткой. Она заинтересовала маленького чиновника. Правда, у гувернантки была довольно сомнитель-

ная репутация, но это совершенно выкупалось тремя тысячами приданого. Заплатин был рассудительный человек и сразу сообразил, что дело не в репутации, а в том, что сто восемьдесят рублей его жалованья сами по себе ничего не обещают в будущем, а плюс три тысячи представляют нечто очень существенное. Этот брак состоялся, и его плодами постепенно явились двадцать пять рублей жалованья вместо прежних пятнадцати, далее свой домик, стоивший по меньшей мере тысяч пятнадцать, своя лошадь, экипажи, четыре человека прислуги, приличная барская обстановка и довольно кругленький капиталчик, лежавший в ссудной кассе. Одним словом, настоящее положение Заплатиных было совершенно обеспечено, и они проживали в год около трех тысяч. А между тем Виктор Николаич продолжал получать свои триста рублей в год, хотя служил уже не в уездном суде, а топографом при узловской межевой канцелярии. Все, конечно, знали скудные размеры жалованья Виктора Николаича и, когда заходила речь об их широкой жизни, обыкновенно говорили: «Помилуйте, да ведь у Хионии Алексеевны пансион; она знает отлично французский язык...». Другие говорили просто: «Да, Хиония Алексеевна очень умная женщина». И далекая провинция начинает проникаться сознанием, что умные люди могут получать триста рублей, а проживать три тысячи. Это вполне современное явление никому не резало глаз, а подводилось под разряд тех фактов, которые правы уже по одному тому, что они существуют.

Домик Заплатиных был устроен следующим образом. Довольно приличный подъезд вел в светлую переднюю. Из передней одна дверь вела прямо в уютную небольшую залу, другая – в три совершенно отдельных комнаты и третья – в темный коридор, служивший границей собственно между половиной, где жили Заплатины, и пансионом. Центром всего дома, конечно, была гостиная, отделанная с трактирной роскошью; небольшой столовой она соединялась непосредственно с половиной Заплатиных, а дверью – с теми комнатами, которые по желанию могли служить совершенно отдельным помещением или присоединяться к зале. В зале стояли порядочная рояль и очень приличная мебель. В других комнатах мебель была сборная, обои не первой молодости, занавески с пятнами и отпечатками грязных пальцев Матрешки. В домике Заплатиных кипела вечная ярмарка: одни приезжали, другие уезжали. Преобладающий элемент составляли дамы. Они являлись сюда за последними новостями, делились слухами и уезжали, нагруженные, как пчелы цветочной пылью, целым ворохом сплетен. *Idee fixe*² Хионии Алексеевны была создать из своей гостиной великосветский салон, где бы молодежь училась хорошему тону и довершала свое образование на живых образцах, люди с весом могли себя показать, женщины – блеснуть своей красотой и нарядами, заезжие артисты и артистки – найти покровительство, местные таланты – хороший совет и поощрение и все молодые девушки – женихов, а все молодые люди – невест. Чтобы выполнить во всех деталях этот грандиозный план, у Заплатиных не хватало средств, а главное, что было самым больным местом в душе Хионии Алексеевны, – ее салон обходили первые узловские богачи – Бахарева, Ляховские и Половодовы. Нужно отдать полную справедливость Хионии Алексеевне, что она не отчаивалась относительно будущего: кто знает, может быть, и на ее улице будет праздник – времена переменчивы. Так тклет паук паутину где-нибудь в темном углу и с терпением, достойным лучшей участи, ждет своих жертв...

– Эта Хиония Алексеевна ни больше ни меньше, как трехэтажный паразит, – говорил частный поверенный Nicolas Веревкин. – Это, видите ли, вот такая штука: есть такой водяной жук! – черт его знает, как он называется по-латыни, позабыл!.. В этом жуке живет паразит-червяк, а в паразите какая-то глиста... Понимаете? Червяк жрет жука, а глиста жрет червяка... Так и наша Хиония Алексеевна жрет нас, а мы жрем всякого, кто попадет под руку!

Что касается семейной жизни, то на нее полагалось время от двух часов ночи, когда Хиония Алексеевна возвращалась под свою смоковницу из клуба или гостей, до десяти часов утра,

² Навязчивая идея (*фр.*)

когда она вставала с постели. Остальное время всецело поглощалось приемами гостей и разъездами по знакомым. Виктор Николаич мирился с таким порядком вещей, потому что на свободе мог вполне предаваться своему любимому занятию – политике. Сидеть в мягком кресле, читать последний номер газеты и отпивать небольшими глотками душистый мокка – ничего лучшего Виктор Николаич никогда не желал. Его мысли постоянно были заняты высшими соображениями европейской политики: Биконсфильд, Бисмарк, Гамбетта, Андраши, Грант – тут было над чем подумать. Относительно своих гостей Виктор Николаич держался таким образом: выходил, делал поклон, улыбался знакомым и, поймав кого-нибудь за пуговицу, уводил его в уголок, чтобы поделиться последними известиями с театра европейской политики.

– Мне нужно посоветоваться с мужем, – обыкновенно говорила Хиония Алексеевна, когда дело касалось чего-нибудь серьезного. – Он не любит, чтобы я делала что-нибудь без его позволения...

Это, конечно, были только условные фразы, которые имели целью придать вес Виктору Николаичу, не больше того. Советов никаких не происходило, кроме легкой супружеской перебранки с похмелья или к ненастной погоде. Виктор Николаич и не желал вмешиваться в дела своей жены.

Что касается пансиона Хионии Алексеевны, то его существование составляло какую-то тайну: появлялись пансионерки, какие-то дальние родственницы, сироты и воспитанницы, жили несколько месяцев и исчезали бесследно, уступая место другим дальним родственницам, сиротам и воспитанницам. Можно было подумать, что у Хионии Алексеевны во всех частях света бесконечная родня. Чему учили в этом пансионе и кто учил – едва ли ответила бы на это и сама Хиония Алексеевна. Пансион имел сношение с внешним миром только при посредстве Матрешки.

Чтобы довершить характеристику той жизни, какая шла в домике Заплатиных, нужно сказать, что французский язык был его душой, альфой и омегой. Французские фразы постоянно висели в воздухе, ими встречали и провожали гостей, ими высказывали то, что было совестно выговорить по-русски, ими пускали пыль в глаза людям непосвященным, ими щеголяли и задавали тон. В жизни Хионии Алексеевны французский язык был неисчерпаемым источником всевозможных комбинаций, а главное – благодаря ему Хиония Алексеевна пользовалась громкой репутацией очень серьезной, очень образованной и вообще передовой женщины.

II

Бахаревский дом стоял в конце Нагорной улицы. Он был в один этаж и выходил на улицу пятнадцатью окнами. Что-то добродушное и вместе уютное было в физиономии этого дома (как это ни странно, но у каждого дома есть своя физиономия). Под этой широкой зеленой крышей, за этими низкими стенами, выкрашенными в дикий серый цвет, совершалось такое мирное течение человеческого существования! Небольшие светлые окна, заставленные цветами и низенькими шелковыми ширмочками, смотрели на улицу с самой добродушной улыбкой, как умеют смотреть хорошо сохранившиеся старики. Прохожие, торопливо сновавшие по тротуарам Нагорной улицы, с завистью заглядывали в окна бахаревского дома, где все дышало полным довольством и тихим семейным счастьем. Вероятно, очень многим из этих прохожих приходила в голову мысль о том, что хоть бы месяц, неделю, даже один день пожить в этом славном старом доме и отдохнуть душой и телом от житейских дряг и треволнений.

Каменные массивные ворота вели на широкий двор, усыпанный, как в цирке, мелким желтым песочком. Самый дом выходил на двор двумя чистенькими подъездами, между которыми была устроена широкая терраса, затянутая теперь вьющейся зеленью и маркизой с крупными фестонами. Эта терраса низенькими широкими ступенями спускалась в красивый цветник, огороженный деревянной зеленой решеткой. В глубине двора стояли крепкие деревянные службы. Между ними и домом тянулась живая стена акаций и сиреней, зеленой щеткой поднимавшихся из-за красивой чугунной решетки с изящными столбиками. Параллельно с зданием главного дома тянулся длинный деревянный флигель, где помещались кухня, кучерская и баня.

Внутри бахаревский дом делился на две половины, у которых было по отдельному подъезду. Ближайший к воротам подъезд вел на половину хозяина, Василья Назарыча, дальний – на половину его жены, Марьи Степановны. Когда вы входили в переднюю, вас уже охватывала та атмосфера довольства, которая стояла в этом доме испокон веку. Обе половины представляли ряд светлых, уютных комнат с блестящими полами и свеженькими обоями. Потолки были везде расписаны пестрыми узорами, и небольшие белые двери всегда блестели, точно они вчера были выкрашены; мягкие тропинки вели по всему дому из комнаты в комнату. Была и разница между половинами Василья Назарыча и Марьи Степановны, но об этом мы поговорим после, потому что теперь к второму подъезду с дребезгом подкатился экипаж Хионии Алексеевны, и она сама весело кивала своей головой какой-то девушке, которая только что вышла на террасу.

– Ах, mon ange! – воскликнула Хиония Алексеевна, прикладываясь своими синими сухими губами к розовым щекам девушки. – Je suis charmee!³ Вы, Nadine, сегодня прелестны, как роза!.. Как идет к вам это полотняное платье... Вы походите на Маргариту в «Фаусте», когда она выходит в сад. Помните эту сцену?

Надежда Васильевна, старшая дочь Бахаревых, была высокая симпатичная девушка лет двадцати. Ее, пожалуй, можно было назвать красивой, но на Маргариту она уже совсем не походила. Сравнение Хионии Алексеевны вызвало на ее полном лице спокойную улыбку, но темно-серые глаза, опущенные густыми черными ресницами, смотрели из-под тонких бровей серьезно и задумчиво. Она откинула рукой пряди светло-русых гладко зачесанных волос, которые выбились у нее из-под летней соломенной шляпы, и спокойно проговорила:

– Вы находите, что я очень похожа на Маргариту?

– О! совершенная Маргарита!..

– Как же вы недавно сравнивали меня с кем-то другим?

³ Я восхищена! (фр.)

– Ах да, это совсем другое дело: если вы наденете русский сарафан, тогда... Марья Степановна дома? Я приехала по одному очень и очень важному делу, которое, *mon ange*, немного касается и вас...

– Опять, вероятно, жениха подыскали?

– Что же в этом дурного, *mon ange*? У всякой Маргариты должен быть свой Фауст. Это уж закон природы... Только я никого не подыскивала, а жених сам явился. Как с неба упал...

– И не ушибся?

Хиония Алексеевна замахала руками, как ветряная мельница, и скрылась в ближайших дверях. Она, с уверенностью своего человека в доме, миновала несколько комнат и пошла по темному узкому коридору, которым соединялись обе половины. В темноте чьи-то небольшие мягкие ладони закрыли глаза Хионии Алексеевны, и девичий звонкий голос спросил: «Угадайте кто?»

– Ах! коза, коза... – разжимая теплые полные руки, шептала Хиония Алексеевна. – Кто же, кроме тебя, будет у вас шутить? Сейчас видела Nadine... Ей, кажется, и улыбнуться-то тяжело. У нее и девичьего ничего нет на уме... Ну, здравствуй, Верочка, *ma petite, ch####vre!*⁴ Ах, молодость, молодость, все шутки на уме, смехи да пересмехи.

– Да о чем же горевать, Хиония Алексеевна? – спрашивала Верочка, звонко целуя гостью. Верочка ничего не умела делать тихо и «всех лизала», как отзывалась об ее поцелуях Надежда Васильевна.

– Ах, *ma petite*,⁵ все еще будет: и слезки, может, будут, и сердечко защемит...

– Ну и пусть щемит: я буду тогда плакать. Мама в моленной... Вы ведь к ней?

– О да, мне ее непременно нужно видеть, – серьезно проговорила Хиония Алексеевна, поправляя смятые ленты. – Очень и очень нужно, – многозначительно прибавила она.

– Я сейчас, – проговорила Верочка, бойко повернулась на одной ножке и быстро исчезла.

«Вот этой жениха не нужно будет искать: сама найдет, – с улыбкой думала Хиония Алексеевна, провожая глазами убегающую Верочку. – Небось не закиснет в девках, как эти принцессы, которые умеют только важничать... Еще считают себя образованными девушками, а когда пришла пора выходить замуж, – так я же им и ищи жениха. Ох, уж эти мне принцессы!»

Хиония Алексеевна прошла в небольшую угловую комнату, уставленную старинной мебелью и разными поставцами с серебряной посудой и дорогим фарфором. Китайские чашечки, японские вазы, севрский и саксонский сервизы красиво пестрели за большими стеклами. В переднем углу, в золоченом иконостасе, темнели образа старинного письма; изможденные, высохшие лица угодников, с вытянутыми в ниточку носами и губами, с глубокими морщинами на лбу и под глазами, уныло глядели из дорогих золотых окладов, осыпанных жемчугом, алмазами, изумрудами и рубинами. Неугасимая лампада слабым ровным светом теплилась перед ними. Небольшие окна были задрапированы чистенькими белыми занавесками; между горшками цветов на лакированных подоконниках стояли ведерные бутылки с наливками из княженики и рябины. Хиония Алексеевна прошла по мягкому персидскому ковру и опустилась на низенький диванчик, перед которым стоял стол красного дерева с львиными лапами вместо ножек. Совершенно особенный воздух царил в этой комнатке: пахло росным ладаном, деревянным маслом, какими-то душистыми травами и еще бог знает чем-то очень приятным, заставлявшим голову непривычного человека тихо и сладко кружиться. Темно-синие обои с букетами цветов и золотыми разводами делали в комнате приятный для глаза полумрак. Писанная масляными красками старинная картина в тяжелой золотой раме висела над самым диваном. Молодой человек и девушка в костюмах Первой французской революции сидели под развесистым деревом и нежно смотрели друг другу в глаза. Направо от диванчика была пробита в

⁴ моя маленькая козочка!.. (*фр.*).

⁵ моя крошка (*фр.*).

стене небольшая дверь, замаскированная коричневыми драпри. Это была спальня самой Марьи Степановны.

– Добрые вести не лежат на месте! – весело проговорила высокая, полная женщина, показываясь в дверях спальни; за ее плечом виднелось розовое бойкое лицо Верочки, украшенное на лбу смешным хохолком.

– Ах! Марья Степановна... – встрепенулась Хиония Алексеевна всеми своими бантами, вскакивая с дивана. В скобках заметим, что эти банты служили не столько для красоты, сколько для прикрытия пятен и дыр. – А я действительно с добрыми вестями к вам.

Марья Степановна была в том неопределенном возрасте, когда женщину нельзя еще назвать старухой. Для своих пятидесяти пяти лет она сохранилась поразительно, и, глядя на ее румяное свежее лицо с большими живыми темными глазами, никто бы не дал ей этих лет. Одета она была в шелковый синий сарафан старого покроя, без сборок позади и с глухими проймами на спине. Белая батистовая рубашка выбивалась из-под этих пройм красивыми буфами и облегла полную белую шею небольшой розеткой. Золотой позумент в два ряда был наложен на переднее полотнище сарафана от самого верха до подола; между позументами красиво блестели большие аметистовые пуговицы. Русые густые волосы на голове были тщательно подобраны под красивую сороку из той же материи, как и сарафан; передний край сороки был украшен широкой жемчужной повязкой. В этом костюме Марья Степановна была типом старинной русской красавицы. Медленно переступая на высоких красных каблучках, Марья Степановна подошла к своей гостье и поцеловалась с ней.

– Ты бы, Верочка, сходила в кладовую, – проговорила она, усаживаясь на диван. – Там есть в банке варенье... Да скажи по пути Досифеюшке, чтобы нам подали самоварчик.

Верочка нехотя вышла из комнаты. Ей до смерти хотелось послушать, что будет рассказывать Хиония Алексеевна. Ведь она всегда привозит с собой целую кучу рассказов и новостей, а тут еще сама сказала, что ей «очень и очень нужно видеть Марью Степановну». «Этакая мамаша!» – думала девушка, надувая и без того пухлые губки.

– Зачем вы ее выслали? – говорила Хиония Алексеевна, когда Верочка вышла.

– Молода еще; все будет знать – скоро состарится.

– Ах, Марья Степановна, какую я вам новость привезла! – торжественно заговорила Хиония Алексеевна, поднимая вылезшие брови чуть не до самой шляпы. – Вчера приехал *Привалов*... Сергей Александрыч Привалов... Разве вы не слышали?... Да, приехал.

У Марьи Степановны от этого известия опустились руки, и она растерянно прошептала:

– Как же это... Где же он остановился?

– В «Золотом якоре», в номерах для приезжающих. Занял рублевый номер, – рапортовала Хиония Алексеевна. – С ним приехал человек... три чемодана... Как приехал, так и лег спать.

– Зачем же это Привалов в трактире остановился?

– Не в трактире, а в номерах для приезжающих, Марья Степановна, – поправила Хиония Алексеевна.

– Ах, матушка, по мне все равно... Не бывала я там никогда. Отчего же он в свой дом не проехал или к нам? Ведь не выгнала бы...

– Вот уж это вы напрасно, Марья Степановна!.. Разве человек образованный будет беспокоить других? Дом у Привалова, конечно, свой, да ведь в нем жильцы. К вам Привалову было ближе приехать, да ведь он понимает, что у вас дочери – невесты... Знаете, все-таки неловко молодому человеку показать себя сразу неделикатным. Я как услышала, что Привалов приехал, так сейчас же и перекрестилась: вот, думаю, господь какого жениха Nadine послал... Ей-богу! А сама плачу... Не знаю, о чем плачу, только слезы так и сыплются. И сейчас к вам...

– Да, может быть, Привалов без нас с вами женился?

– Ах, Марья Степановна!.. Уж я не стала бы напрасно вас тревожить. Нарочно пять раз послала Матрешку, а она через буфетчика от приваловского человека всю подноготную раз-

узнала. Только устрой, господи, на пользу!.. Уж если это не жених, так весь свет пройти надо: и молодой, и красивый, и богатый. Мил-лио-нер... Да ведь вам лучше это знать!

– Ну, миллионы-то еще надо ему самому наживать, – степенно проговорила Марья Степановна, подбирая губы оборочкой...

– Ах, помилуйте, что вы?! Да ведь после матери досталось ему пятьсот тысяч...

– Убавьте триста-то, Хиония Алексеевна.

– Ну, что же? Ну, пусть будет двести тысяч. И это деньги.

– Да ведь он их, наверно, давно прожил там, в своем Петербурге-то.

– И нисколько не прожил... Nicolas Веревкин вместе с ним учился в университете и прямо говорит: «Привалов – самый скромный молодой человек...» Потом после отца Привалову достанется три миллиона... Да?

– Это, Хиония Алексеевна, еще старуха надвое сказала... Трудно получить эти деньги, если только они еще есть. Ведь заводы все в долгу.

– Ах, господи, господи!.. – Хиония Алексеевна. – И что вам за охота противоречить, когда всем, решительно всем известно, что Привалов получит три миллиона. Да-с, три, три, три!..

Последняя фраза целиком долетела до маленьких розовых ушей Верочки, когда она подходила к угловой комнате с полной тарелкой вишневого варенья. Фамилия Привалова заставила ее даже вздрогнуть... Неужели это тот самый Сережа Привалов, который учился в гимназии вместе с Костей и когда-то жил у них? Один раз она еще укусила его за ухо, когда они играли в жгуты... Сердце Верочки по неизвестной причине забило тревогу, и в голове молнией мелькнула мысль: «Жених... жених для Нади!»

– Что с тобой, Верочка? – спрашивала Марья Степановна, когда дочь вошла в комнату, покрасневшая, как пион.

– Я... я, мама, очень скоро бежала по лестнице, – отвечала Верочка, еще более краснея.

– Ах, молодость, молодость! – шептала сладким голосом Хиония Алексеевна, закатывая глаза. – Да... Вот что значит молодость: и невинна, и пуглива, и смешна. Кому не было шестнадцати лет!..

Верочка в эту минуту в своем смущении, с широко раскрытыми карими глазами, с блуждающей по лицу улыбкой, с вспыхивавшими на щеках и подбородке ямочками была действительно хороша. Русые темные волосы были зачесаны у нее так же гладко, как и у сестры, за исключением небольшого хохолка, который постоянно вставал у нее на конце пробора, где волосы выходили на лоб небольшим мысиком. Тяжелая коса трубой лежала на спине. Только светло-палевое платье немного портило девушку, придавая ей вид кисейной барышни, но яркие цвета были страстью Верочки, и она любила щегольнуть в розовом, сиреневом или голубом. «А... радуга», – говорил Виктор Васильич, брат Верочки, когда она одевалась по своему вкусу. Теперь ей только что минуло шестнадцать лет, и она все еще не могла привыкнуть к своему длинному платью, которое сводило ее с ума. Фигура у Верочки еще не сформировалась, и она по-прежнему осталась «булкой», как в шутку иногда называл ее отец.

Эта немая сцена была прервана появлением Досифеи, которая внесла в комнату небольшой томпаковый самовар, кипевший с запальчивостью глубоко оскорбленного человека. Досифея была такая же высокая и красивая женщина, как сама Марья Степановна, только черты ее правильного лица носили более грубый отпечаток, как у всех глухонемых. Косоклиный кубовый сарафан облегал ее могучие формы; на голове была девичья повязка, какие носят старообрядки. Длинный белый передник был подвязан под самые мышки. Марья Степановна сделала ей несколько знаков рукой; Досифея с изумлением посмотрела кругом, потом стремительно выбежала из комнаты и через минуту была на террасе, где Надежда Васильевна читала книгу. Глухонемая бросилась к девушке и принялась ее душить в своих могучих объятиях, покрывая безумными поцелуями и слезами ее лицо, шею, руки.

– Что это с тобой? – удивилась Надежда Васильевна, когда пароксизм миновал.

– Ммм... ааа... – мычала Досифея, делая знаки руками и головой.

– Вот еще где наказание-то, – вслух подумала Надежда Васильевна, – да эта Хина кого угодно сведет с ума!

Девушка знаками объяснила глухонемой, что над ней пошутили и что никакого жениха нет и не будет. Досифея недоверчиво покачала головой и объяснила знаками, что это ей сказала «сама», то есть Марья Степановна.

III

– Это Привалов! – вскрикнула Хиония Алексеевна, когда во дворе к первому крыльцу подъехал на извозчике какой-то высокий господин в мягкой серой шляпе.

– Как же это так... скоро... вдруг, – говорила растерявшаяся Марья Степановна. – Верочка, беги скорее к отцу... скажи... Ах, чего это я горожу!

– Позовите сюда Nadine, Верочка! – скомандовала Хиония Алексеевна.

– Да, да, позови ее, – согласилась Марья Степановна. – Как же это?.. У нас и к обеду ничего нет сегодня. Ах, господи! Вы сказали, что ночью приехал, я и думала, что он завтра к нам приедет... У Нади и платья нового, кажется, нет. Портнихе заказано, да и лежит там...

Надежда Васильевна попалась Верочке в темном коридорчике; она шла в свою комнату с разогнутой книгой в руках.

– Иди, ради бога, иди, скорее иди!.. – шептала Верочка, поднимаясь на носки.

– Да что с тобой, Верочка?

– Ах, иди, иди...

Надежда Васильевна видела, что от Верочки ничего не добьется, и пошла по коридору. Верочка несколько мгновений смотрела ей вслед, потом быстро ее догнала, поправила по пути платье и, обхватив сестру руками сзади, прильнула безмолвно губами к ее шее.

– Сегодня, кажется, все с ума сошли, – проговорила недовольным голосом Надежда Васильевна, освобождаясь из объятий сестры. – И к чему эти телячьи нежности; давеча Досифея чуть не задушила меня, теперь ты...

– Надя... – шептала задыхающимся голосом Верочка, хватаясь рукой за грудь, из которой сердце готово было выскочить: так оно билось. – Приехал... Привалов!..

Надежда Васильевна прошла в комнату матери, а Верочка на цыпочках пробралась к самой передней и в замочную скважину успела рассмотреть Привалова. Он теперь стоял посреди комнаты и разговаривал с старым Лукой.

– Что, не узнал меня? – спрашивал Привалов седого низенького старичка с моргающими глазками.

– Нет... невдомек будет, – говорил Лука, медленно шевеля старческими, высохшими губами.

– А Сережу Привалова помнишь?

– Батюшка ты наш, Сергей Александрыч!.. – дрогнувшим голосом запричитал Лука, бросаясь снимать с гостя верхнее пальто и по пути целуя его в рукав сюртука. – Выжил я из ума на старости лет... Ах ты, господи!.. Угодники, бессребреники...

– Василий Назарыч здоров? – спрашивал Привалов.

– Да, да... То есть... Ах, чего я мелю!.. Пожалуйте, батюшка, позвольте, только я доложу им. В гостиной чуточку обождите... Вот где радость-то!..

– Ну, а ты, Лука, как поживаешь? – спрашивал Привалов, пока они проходили до гостиной.

– Что мне делается; живу, как старый кот на печке. Только вот ноги проклятые не слушают. Другой раз точно на чужих ногах идешь... Ей-богу! Опять, тоже вот идешь по ровному месту, а левая нога начнет задирать и начнет задирать. Вроде как подымаешься по лестнице.

С старческой болтливостью в течение двух-трех минут Лука успел рассказать почти все: и то, что у барина тоже одна ножка шаркает, и что у них с Костенькой контры, и что его, Луку, кровно обидели – наняли «камардина Игреньку», который только спит.

– Вот он, – проговорил Лука, показывая глазами на молодого красивого лакея с английским пробором. – Ишь, челку-то расчесал! Только уж я сам доложу о вас, Сергей Александрыч... Да какой вы из себя-то молодец... а! Я живой ногой... Ах ты, владычица небесная!..

И, задирая левой ногой, Лука направился к дубовой запертой двери. Верочка осталась совершенно довольна своими наблюдениями: Привалов в ее глазах оказался вполне достойным занять роль того мифического существа, каким в ее воображении являлся жених Нади. Ведь Надя необыкновенная девушка – красивая, умная, следовательно, и жених Нади должен быть необыкновенным существом. Во-первых, Привалов – миллионер (Верочка была очень практическая особа и хорошо знала цену этому магическому слову); во-вторых, о нем столько говорили, и вдруг он является из скрывавшей его неизвестности... Его высокий рост, голос, даже большая русая борода с красноватым оттенком, – все было хорошо в глазах Верочки. Между тем Привалов совсем не был красив. Лицо у него было неправильное, с выдающимися скулами, с небольшими карими глазами и широким ртом. Правда, глаза эти смотрели таким добрым взглядом, но ведь этого еще мало, чтобы быть красивым.

– Вот изволь с ней поговорить! – горячилась Марья Степановна, указывая вбежавшей Верочке на сестру. – Не хочет переменить даже платье...

– Ну что, какой он: красавец? брюнет? блондин? Главное – глаза, какие у него глаза? – сыпала вопросами Хиония Алексеевна, точно прорвался мешок с сухим горохом.

– Высокий... носит длинную бороду... с Лукой разговаривал.

– Ах, Верочка, глаза... какие у него глаза?

– Кажется, черные... нет, серые... черные...

– Что он с Лукой говорил? – спросила Марья Степановна.

Верочка начала выгружать весь запас собранных ею наблюдений, постоянно путаясь, повторяла одно и то же несколько раз. Надежда Васильевна с безмолвным сожалением смотрела на эту горячую сцену и не знала, что ей делать и куда деваться.

Неожиданное появление Привалова подняло переполох в бахаревском доме сверху донизу. Марья Степановна в своей спальне при помощи горничной Даши и Хионии Алексеевны переменяла уже третий сарафан; Верочка тут же толклась в одной юбке, не зная, какому из своих платьев отдать предпочтение, пока не остановилась на розовом барежевом. Как всегда в этих случаях бывает, крючки ломались, пуговицы отрывались, завязки лопались; кажется, чего проще иголки с ниткой, а между тем за ней нужно было бежать к Досифее, которая производила в кухне настоящее столпотворение и ничего не хотела знать, кроме своих кастрюль и горшков. Старый Лука – и тот, схватив мел и суконку, усердно полировал бронзовую ручку двери.

– Устрой, милостивый господи, все на пользу... – вслух думал старый верный слуга, поплеывая на суконку. – Уж, кажется, так бы хорошо, так бы хорошо... Вот думать, так не придумать!.. А из себя-то какой молодец... в прероду свою вышел. Отец-от вон какое дерево был: как, бывало, размахнется да ударит, так замертво и вынесут.

– Уж вы, Хиония Алексеевна, пожалуйста, не оставляйте нас, – не зная зачем, просила Марья Степановна.

– Помилуйте, Марья Степановна: я нарочно ехала предупредить вас, – не без чувства собственного достоинства отвечала Хиония Алексеевна, напрасно стараясь своими костлявыми руками затянуть корсет Верочки. – Ах, Верочка... Ведь это ужасно: у женщины прежде всего талия... Мужчины некоторые сначала на талию посмотрят, а потом на лицо.

– Что же мне делать, Хиония Алексеевна? – со слезами в голосе спрашивала бедная девочка.

– Теперь уж ничего не поделаешь... А вот вы, козочка, кушайте поменьше – и талия будет. Мы в пансионе укус пили да известку ели, чтобы интереснее казаться...

Только один человек во всем доме не принимал никакого участия в этом переполохе. Это был младший сын Бахарева, Виктор Васильевич. Он лежал в одной из самых дальних комнат, выходящей окнами в сад. Вернувшись домой только в шесть часов утра, «еле можаху», он, не раздеваясь, растянулся на старом клеенчатом диване и теперь лежал в расстегнутой куцей

визитке табачного цвета, в смятых панталонах и в одном сапоге. Другой сапог валялся около дивана вместе с раскрытыми золотыми часами. Молодое бледное лицо с густыми черными бровями и небольшой козлиной бородкой было некрасиво, но оригинально; нос с вздутыми тонкими ноздрями и смело очерченные чувственные губы придавали этому лицу капризный оттенок, как у избалованного ребенка. Игорь несколько раз пробовал разбудить молодого человека, но совершенно безуспешно: Виктор Васильевич отбивался от него руками и ногами.

– Велели беспрерывно разбудить, – говорил Игорь, становясь в дверях так, чтобы можно было увернуться в критическом случае. – У них гости... Приехал господин Привалов.

– Какой там Привалов... Не хочу знать никакого Привалова! Я сам Привалов... к черту!.. – кричал Бахарев, стараясь попасть снятым сапогом в Игоря. – Ты, видно, вчера пьян был... без задних ног, раккалия!.. Привалова жена в окно выбросила... Привалов давно умер, а он: «Привалов приехал...» Болван!

– Это уж как вам угодно будет, – обиженным голосом заявил Игорь, продолжая стоять в дверях.

– Мне угодно, чтобы ты провалился ко всем семи чертям!

– Может, прикажете сельтерской воды или нашатырного спирту... весь хмель как рукой снимет.

– А! так ты вот как со мной разговариваешь...

– Мне что... мне все равно, – с гонором говорил Игорь, отступая в дверях. – Для вас же хлопочу... Вы и то мне два раза каблуком в скулу угадали. Вот и знак-с...

– Ну, и убирайся к чертовой матери с своим знаком, пока я из тебя лучины не нащепал!

Игорь скрылся. Бахарев попробовал раскрыть глаза, но сейчас же закрыл их: голова чертовски трещала от вчерашней попойки.

«И пьют же эти иркутские купцы... Здорово пьют! – рассуждал он. – А Иван-то Яковлич... ах, старый хрен!»

IV

Когда Привалов вошел в кабинет Бахарева, старик сидел в старинном глубоком кресле у своего письменного стола и хотел подняться навстречу гостю, но сейчас же бессильно опустился в свое кресло и проговорил взволнованным голосом:

– Да откуда это ты... вы... Вот уж, поистине сказать, как снег на голову. Ну, здравствуй!..

Наклонив к себе голову Привалова, старик несколько раз крепко поцеловал его и, не выпуская его головы из своих рук, говорил:

– Какой ты молодец стал... а! В отца пошел, в отца... Когда к нам в Узел-то приехал?

– Сегодня ночью, Василий Назарыч.

– Да, да, ночью, – бормотал старик, точно стараясь что-то припомнить. – Да, сегодня ночью...

– Как здоровье Марьи Степановны?

– Моей старухи? Ничего, молится... Нет, право, какой ты из себя-то молодец... а!

– Я прежде всего должен поблагодарить вас, Василий Назарыч... – заговорил Привалов, усаживаясь в кресло напротив старика.

– Как ты сказал: поблагодарить?

– Да, потому что я так много обязан вам, Василий Назарыч.

– Э, перестань, дружок, это пустое. Какие между нами счеты... Вот тебе спасибо, что ты приехал к нам, Пора, давно пора. Ну, как там дела-то твои?

– Все в том же положении, Василий Назарыч.

– Гм... я думал, лучше. Ну, да об этом еще успеем натолковаться! А право, ты сильно изменился... Вот покойник Александр-то Ильич, отец-то твой, не дожил... Да. А ты его не вини. Ты еще молод, да и не твое это дело.

– Я хорошо понимаю это, Василий Назарыч.

– Нет, ты не вини. Не бери греха на душу...

Коренастая, широкоплечая фигура старика Бахарева тяжело повернулась в своем кресле. Эта громадная голова с остатками седых кудрей и седой всклокоченной бородой была красива оригинальной старческой красотой. Небольшие пронизательные серые глаза смотрели пытливо и сурово, но теперь были полны любви и теплой ласки. Самым удивительным в этом суровом лице с сросшимися седыми бровями и всегда сжатыми плотно губами была улыбка. Она точно освещала все лицо. Так умеют смеяться только дети да слишком серьезные и энергичные старики.

Кабинет Бахарева двумя окнами выходил на улицу и тремя на двор. Стены были оклеены скромными коричневыми обоями, окна задрапированы штофными синими занавесями. В этой комнате всегда стоял полусвет. На полу лежал широкий персидский ковер. У стены, напротив стола, стоял низкий турецкий диван, в углу железный несгораемый шкаф, в другом – этажерка. На письменном столе правильными рядами были разложены конторские книги и счеты с белыми облатками. У яшмового письменного прибора стопочкой помещались печатные бланки с заголовком: «Главная приисковая контора В.Н.Бахарева». Они вместо прессы были придавлены платиновым самородком в несколько фунтов весу. На самом видном месте помещалась большая золотая рамка с инкрустацией из ляпис-лазури; в ней была вставлена отцветшая, порыжевшая фотография Марьи Степановны с четырьмя детьми. На стене, над самым диваном, висела в богатой резной раме из черного дерева большая картина, писанная масляными красками. На ней был оригинальный вид сибирского прииска, заброшенного в глубь Саянских гор. На первом плане стояла пестрая кучка приисковых рабочих, вскрывавших золотоносный пласт. Направо виднелась большая золотопромывательная машина, для неопытного глаза представлявшая какую-то городьбу из деревянных балок, желобов и колес. На зад-

нем плане картины, на небольшом пригорочке, – большая приисковая контора, несколько хозяйственных пристроек и длинные корпуса для приисковых рабочих. Высокие горы, сплошь обросшие дремучим сибирским лесом, замыкали картину на горизонте. Это был знаменитый в летописях сибирской золотопромышленности Варваринский прииск, открытый Василием Бахаревым и Александром Приваловым в глубине Саянских гор, на какой-то безымянной горной речке. Варваринским он был назван в честь Варвары Павловны, матери Сергея Привалова.

Привалова поразило больше всего то, что в этом кабинете решительно ничего не изменилось за пятнадцать лет его отсутствия, точно он только вчера вышел из него. Все было так же скромно и просто, и стояла все та же деловая обстановка. Привалову необыкновенно хорошо казалось все: и кабинет, и старик, и даже самый воздух, отдававший дымом дорогой сигары.

Именно такую представлял себе Привалов ту обстановку, в которой задумывались стариком Бахаревым его самые смелые предприятия и вершились дела на сотни тысяч рублей.

– Что же мы сидим тут? – спохватился Бахарев. – Пойдем к старухе... Она рада будет видеть этакого молодца. Пойдем, дружок!

Старик было поднялся со своего кресла, но опять опустился в него с подавленным стоном. Больная нога давала себя чувствовать.

– Позвольте, я помогу вам, – предложил Привалов.

– Нет, ты не сумеешь этого сделать, – с печальной улыбкой проговорил старик и позвонил. – Вот Лука – тот на эти дела мастер. Да... Отошло, видно, золотое времечко, Сергей Александрыч, – грустно заговорил Бахарев. – Сегодня ножка болит, завтра ручка, а потом придет время, что и болеть будет нечему... А время-то, время-то теперь какое... а? Ведь каждый час дорог, а я вот пачкаюсь здесь с докторами. Спать даже не могу. Как подумаю, что делается без меня на приисках, так вот сердце кровью и обольется. Кажется, взял бы крылья, да и полетел... Да. А заменитья некем! Один сын умнее отца хочет быть, другой... да вот сам увидишь! Дочерей ведь не пошлешь на прииски.

При помощи Луки Бахарев поднялся с кресла и, шаркая одной ногой, пошел к дверям.

– Вот, Лука, и мы с тобой дожили до радости, – говорил Бахарев, крепко опираясь на плечо верного старого слуги. – Видел, какой молодец?..

– Уж на что лучше, Василий Назарыч! Я даже не узнал их... Можно сказать, совсем преобразились. Бывало, когда еще в емназии с Костенькой учились...

– Опять? – строго остановил Бахарев заболтавшегося старика. – Позабыл уговор?

– Не буду, не буду, Василий Назарыч!.. Так, на радостях, с языка слово сорвалось...

– Послушай, да ты надолго ли к нам-то приехал? – спрашивал Бахарев, останавливаясь в дверях. – Болтаю, болтаю, а о главном-то и не спрошу...

– Я думаю совсем здесь остаться, Василий Назарыч.

– Слава тебе, господи, – с умилением проговорил Лука, откладывая свободной рукой широчайший крест.

V

Привалов шел за Василием Назарычем через целый ряд небольших комнат, убранных согласно указаниям моды последних дней. Дорогая мягкая мебель, ковры, бронза, шелковые драпировки на окнах и дверях – все дышало роскошью, которая невольно бросалась в глаза после скромной обстановки кабинета. В небольшой голубой гостиной стояла новенькая рояль Беккера; это было новинкой для Привалова, и он с любопытством взглянул на кучку нот, лежавших на пюпитре.

– Мы ведь нынче со старухой на две половины живем, – с улыбкой проговорил Бахарев, останавливаясь в дверях столовой передохнуть. – Как же, по-современному... Она ко мне на половину ни ногой. Вот в столовой сходимся, если что нужно.

Сейчас за столовой началась половина Марьи Степановны, и Привалов сразу почувствовал себя как дома. Все было ему здесь знакомо до мельчайшей подробности и точно освящено детскими воспоминаниями. Полинявшие дорогие ковры на полу, резная старинная мебель красного дерева, бронзовые люстры и канделябры, малахитовые вазы и мраморные столики по углам, старинные столовые часы из матового серебра, плохие картины в дорогих рамах, цветы на окнах и лампы перед образами старинного письма – все это уносило его во времена детства, когда он был своим человеком в этих уютных низеньких комнатах. Даже самый воздух остался здесь все тем же – теплым и душистым, насквозь пропитанным ароматом домовитой старины.

– Вот и моя Марья Степановна, – проговорил Василий Назарыч, когда они вошли в небольшую темно-красную гостиную.

Привалов увидел высокую фигуру Марьи Степановны, которая была в бледно-голубом старинном сарафане и показалась ему прежней красавицей. Когда он хотел поцеловать у нее руку, она обняла его и, по старинному обычаю, степенно приложила к его щекам своими полными щеками и даже поцеловала его неподвижными сухими губами.

– Нет, ты посмотри, Маша, какой молодец... а? – повторял Василий Назарыч, усаживаясь при помощи Луки в ближайшее кресло.

– В матушку пошел, в Варвару Павловну, – проговорила Марья Степановна, оглядывая Привалова с ног до головы.

– Вот и нет, – возразил старик. – Я как давеча взглянул на него, – вылитый покойный Александр Ильич, как две капли воды.

– Нет, в мать... вылитая мать!

Старики поспорили и остались каждый при своем мнении.

– А ты, поди, совсем обасурманился на чужой-то стороне? – спрашивала Марья Степановна гостя. – И лба не умеешь перекрестить по-истовому-то?.. Щепотью молишься?..

– Нет, зачем же забывать старое, – уклончиво ответил Привалов.

– Никого уж и в живых, почитай, нет, – печально проговорила Марья Степановна, подпирая щеку рукой. – Старая девка Размахнина кое-как держится, да еще Колпакова... Может, помнишь их?..

– Да, помню.

– Добрые люди мрут и нам дорожку трут, – прибавил от себя Бахарев. – Давно ли, ровно, Сергей Александрыч, ты гимназистом-то был, а теперь...

Наступила тяжелая пауза; все испытывали то неловкое чувство, которое охватывает людей, давно не видавших друг друга. Этим моментом отлично воспользовалась Хиония Алексеевна, которая занимала наблюдательный пост в полутемном коридорчике. Она почти насильно вытолкнула Надежду Васильевну в гостиную, перекрестив ее вдогонку.

– Моя старшая дочь, Надежда, – проговорил Василий Назарыч с невольной гордостью счастливого отца.

Привалов поздоровался с девушкой и несколько мгновений смотрел на нее удивленными глазами, точно стараясь что-то припомнить. В этом спокойном девичьем лице с большими темно-серыми глазами для него было столько знакомого и вместе с тем столько нового.

– Наде было пять лет, когда вы с Костей уехали в Петербург, – заметила Марья Степановна, давая дочери место около себя.

– Обедать подано, – докладывал Игорь, вытягиваясь в дверях.

– Мы ведь по старине живем, в двенадцать часов обедаем, – объяснила Марья Степановна, поднимаясь с своего места. – А по-нынешнему господа в восемь часов вечера садятся за стол.

– Да, кто встает в двенадцать часов дня, – заметил Привалов.

– Ну, а ты как?

– Как случится, Марья Степановна. Вот буду жить в Узле, тогда постараюсь обедать в двенадцать.

– Так-то лучше будет, – весело заговорила Марья Степановна; ответ Привалова ей очень понравился. – Ты старины-то не забывай, – наставительно продолжала она по дороге в столовую. – Кто у тебя отцы-то были... а? Ведь столпы были по древнему благочестию. Новшества этих и знать не хотели, а прожили век не хуже других. А дедушку твоего взять, Павла Михайловича Гуляева? Он часто говаривал, что лучше в одной рубашке останется, а с бритосуами да табашниками из одной чашки есть не будет. Вон какой дом-то выстроил тебе: пятьдесят лет простоял и еще двести простоит. Эдаких людей больше и на свете не осталось. Так, мелочь разная.

Привалов плохо слушал Марью Степановну. Ему хотелось оглянуться на Надежду Васильевну, которая шла теперь рядом с Васильем Назарычем. Девушка поразила Привалова, поразила не красотой, а чем-то особенным, чего не было в других.

– Мой младший сын, моя младшая дочь, – коротко отрекомендовал Василий Назарыч Верочку и Виктора Васильича, которые ожидали всех в столовой.

– Это наша хорошая знакомая, Хиония Алексеевна, – рекомендовала Марья Степановна Заплатину, которая ответила на поклон Привалова с приличной важностью.

– Очень приятно, – как во сне повторял Привалов, пожимая руку Виктора Васильича.

– Мне тоже очень приятно, – отвечал Виктор Васильич, расставляя широко ноги и бесцеремонно оглядывая Привалова с ног до головы; он только что успел проснуться, глаза были красны, сюртук сидел криво.

Верочка в своем розовом платье горела, как маков цвет. Ей казалось, что все смотрят именно на нее; эта мысль сильно смущала ее и заставляла краснеть еще больше... «Жених...» – думала она, опуская глаза в сладком волнении. Привалов с любопытством посмотрел на смущенную Верочку и почувствовал себя необыкновенно хорошо, точно он вернулся домой из какого-то далекого путешествия. Именно теперь он отчетливо припомнил двух маленьких девочек, которые нарушали торжественную тишину бахаревского дома вечным шумом, возней и детским смехом. Которую-то из них называли «булкой»... Взглянув на Верочку, Привалов едва успел подавить невольную улыбку: несмотря на свои шестнадцать лет, она все еще оставалась «булкой». Это мимолетное детское воспоминание унесло Привалова в то далекое, счастливое время, когда он еще не отделял себя от бахаревской семьи. Вот в этой самой столовой происходили те особенные обеды, которые походили на таинство. Маленький Привалов сильно побаивался Марьи Степановны, которая держала себя всегда строго, а за обедом являлась совсем неприступной: никто не смел слова сказать лишнего, и только когда бывал дома Василий Назарыч, эта слишком натянутая обеденная обстановка заметно смягчалась.

– Ты уж не обессудь нас на нашем угощении, – заговорила Марья Степановна, наливая гостью щей; нужно заметить, что своими щами Марья Степановна гордилась и была глубоко уверена, что таких щей никто не умеет варить, кроме Досифеи.

Старинная фаянсовая посуда с синими птицами и синими деревьями оставалась та же, как и раньше; те же ложки и вилки из массивного серебра с вензелями на ручках. Щи Досифеи, конечно, оставались теми же и так же аппетитно пахли специальным букетом. Привалов испытывал глубокое наслаждение, точно в каждой старой вещи встречал старого друга. Разговор за обедом происходил так же степенно и истово, как всегда, а Марья Степановна в конце стола казалась королевой. Даже Хиония Алексеевна – и та почувствовала некоторый священный трепет при мысли, что имела счастье обедать с миллионером; она, правда, делала несколько попыток самостоятельно вступить в разговор с Приваловым, но, не встречая поддержки со стороны Марьи Степановны, красноречиво умолкала. Зато эта почтенная дама постаралась вознаградить себя мимикой, причем несколько раз самым многозначительным образом указывала глазами Марье Степановне то на Привалова, то на Надежду Васильевну, тяжело вздыхала и скромно опускала глаза.

– Нынешние люди как-то совсем наособицу пошли, – рассуждала Марья Степановна. – Не приноровишься к ним.

– Ах, совсем дрянной народ, совсем дрянной! – подпевала Хиония Алексеевна, как вторая скрипка в оркестре.

– Это, мама, только так кажется, – заметила Надежда Васильевна. – И прежде было много дурных людей, и нынче есть хорошие люди...

– Конечно, так, – подтвердил Виктор Васильич. – Когда мы состаримся, будем тоже говорить, что вот в наше время так были люди... Все старики так говорят.

– Да вам с Давидом Ляховским и головы не сносить до старости-то, – проговорил Василий Назарыч.

– Молодость, молодость, – шептала Хиония Алексеевна, закатывая глаза. – Кто не был молод, кому не было шестнадцати лет... Не так ли, Марья Степановна?

Глядя на испитое, сморщенное лицо Хионии Алексеевны, трудно было допустить мысль, что ей когда-нибудь, даже в самом отдаленном прошлом, могло быть шестнадцать лет.

– Вы, вероятно, запишетесь в один из наших клубов, Сергей Александрыч? – спрашивала Заплата с жестом настоящей *grande dame*...⁶

– Право, я еще не успел подумать об этом, – отвечал Привалов. – Да вообще едва ли и придется бывать в клубе...

– Да, да... Я понимаю, что вы заняты, у вас дела. Но ведь молодым людям отдых необходим. Не правда ли? – спрашивала Хиония Алексеевна, обращаясь к Марье Степановне. – Только я не советую вам записываться в Благородное собрание: скучища смертная и сплетни, а у нас, в Общественном клубе, вы встретите целый букет красавиц. В нем недостает только Nadine... Ваши таланты, Nadine...

– Давно ли, Хиония Алексеевна, вы сделали такое открытие? – спрашивала с улыбкой Надежда Васильевна.

– О, я это всегда говорила... всегда!.. Конечно, я хорошо понимаю, что вы из скромности не хотите принимать участия в любительских спектаклях.

Когда Надежда Васильевна улыбалась, у нее на широком белом лбу всплывала над левой бровью такая же морщинка, как у Василья Назарыча. Привалов заметил эту улыбку, а также едва заметный жест левым плечом, – тоже отцовская привычка. Вообще было заметно сразу, что Надежда Васильевна ближе стояла к отцу, чем к матери. В ней до мельчайших подробно-

⁶ высокопоставленной дамы... (фр.).

стей впечатлелись все те характерные особенности бахаревского типа, который старый Лука подводил под одно слово: «прерода».

Конец обеда прошел очень оживленно. Хиония Алексеевна, как ни сдерживала свой язык, но под конец выгрузила давивший ее запас последних городских новостей. Привалов, таким образом, имел удовольствие выслушать, что Половодов, конечно, умный человек, но гордец, которого следует проучить. Всего несколько дней назад Хионии Алексеевне представлялся удобный случай к этому, но она не могла им воспользоваться, потому что тут была замешана его сестра, Анна Павловна; а Анна Павловна, девушка хотя и не первой молодости и считает себя передовой, но... и т. д. и т. д.

– Да что я говорю? – спохватилась Хиония Алексеевна. – Ведь Половодов и Ляховский ваши опекуны, Сергей Александрыч, – вам лучше их знать.

– Лично мне не приходилось иметь с ними дела, – ответил Привалов.

– Да, да... А Nicolas Веревкин... ведь вы, кажется, с ним вместе в университете учились, если не ошибаюсь?

– Да, вместе.

– Какой это замечательно умный человек, Сергей Александрыч. Вы представить себе не можете! Купцы его просто на руках носят... И какое остроумие! Недавно на обвинительную речь прокурора он ответил так: «Господа судьи и господа присяжные... Я могу сравнить речь господина прокурора с тем, если б человек взял ложку, почерпнул шей и пронес ее, вместо рта, к уху». Понимаете: восторг и фурор!..

– Нужно спросить, Хиония Алексеевна, во что обходится остроумие Веревкина его клиентам, – заметил Бахарев.

– Ах, Василий Назарыч... Конечно, Nicolas берет крупные куши, но ведь мы живем в такое время, в такое время... Не правда ли, Марья Степановна?

Марья Степановна ничего не ответила, потому что была занята поведением Верочки и Виктора Васильевича, которые давно пересмеивались насчет Хионии Алексеевны. Дело кончилось тем, что Верочка, вся красная, как пион, наклонилась над самой тарелкой; кажется, еще одна капелька, и девушка раскатилась бы таким здоровым молодым смехом, какого стены бахаревского дома не слышали со дня своего основания. Верочку спасло только то, что в самый критический момент все поднялись из-за стола, и она могла незаметно убежать из столовой.

VI

Сейчас после обеда Василий Назарыч, при помощи Луки и Привалова, перетащился в свой кабинет, где в это время, по стариковской привычке, любил вздремнуть часик. Привалов знал эту привычку и хотел сейчас же уйти.

– Нет, постой, с бабами еще успеешь наговориться, – остановил его Бахарев и указал на кресло около дивана, на котором укладывал свою больную ногу. – Ведь при тебе это было, когда умер... Холостов? – старик с заметным усилием проговорил последнее слово, точно эта фамилия стояла у него поперек горла.

– Нет, я в это время был в Петербурге, – ответил Привалов, не понимая вопроса.

– Нет, не то... Как ты узнал, что долг Холостова переведен министерством на ваши заводы?

– Когда я получил телеграмму о смерти Холостова, сейчас же отправился в министерство навести справки. У меня там есть несколько знакомых чиновников, которые и рассказали все, то есть, что решение по делу Холостова было получено как раз в то время, когда Холостов лежал на столе, и что министерство перевело его долг на заводы.

– Меня просто убило это известие, – грустно заговорил Бахарев. – Это несправедливо... Холостов как ваш вотчим и опекун делает миллионный долг при помощи мошенничества, его судят за это мошенничество и присуждают к лишению всех прав и ссылке в Сибирь, а когда он умирает, долг взваливают на вас, наследников. Я еще понимаю, что дело о Холостове затянули на десять лет и вытащили решение в тот момент, когда Холостова уже нельзя было никуда сослать, кроме царствия небесного... Я это еще понимаю, потому что Холостов был в свое время сильным человеком и старые благоприятели поддерживали; но перевести частный долг, притом сделанный мошеннически, на наследников... нет, я этого никогда не пойму. А затем эти семьсот тысяч, которые были взяты инженером Масманом во время казенной опеки над заводами, – они тоже перенесены на заводы?

– Да, и они перенесены на нас, потому что деньги были выданы правительством Масману на усиление заводского действия.

– Хорошо. Но ведь Масман до сих пор не представил еще никакого отчета о расходовании этих сумм?

– Ничего не представил.

– Я писал тогда тебе об этом, чтобы хлопотать непременно и притянуть Масмана во что бы то ни стало.

– Василий Назарыч, ведь со времени казенной опеки над заводами прошло почти десять лет... Несмотря ни на какие хлопоты, я не мог даже узнать, существует ли такой отчет где-нибудь. Обращался в контроль, в горный департамент, в дворянскую опеку, везде один ответ: «Ничего не знаем... Справьтесь где-нибудь в другом месте».

– А Масман живет в Петербурге?

– Да, зимой в Петербурге, а летом в Крыму, в собственном имении.

– Купленным на ваши деньги?.. Ха-ха... Ты был у него?

– Несколько раз.

– «Болен» или «не принимают»? Подлецы...

Василий Назарыч тяжело завопил на своем диване и закусил губу.

– А ты знаешь, сколько с процентами составляют эти два долга?

– Около четырех миллионов...

– Да. Когда отец твой умер, на заводах не было ни копейки долга; оставались еще кой-какие крохи в бумагах да прииски. Когда мачеха вышла за Холостова, он в три года промотал все оставшиеся деньги, заложил прииски, сделал миллионный долг и совсем уронил заводы. Я

надеялся, что когда заводы будут под казенной опекой, – они если не поправятся, то не будут приносить дефицита, а между тем Масман в один год нахлопал на заводы новый миллионный долг. Когда заводы перешли в опекуновское управление, я надеялся понемногу опять поднять дело. Костя вот уж пять лет работает на них, как каторжный, и добился ежегодного дивиденда в триста тысяч рублей. Но куда идут деньги?.. Чтобы выплатить четырехмиллионный долг, необходимо поднимать заводы; затем, из этих же денег приходится выплачивать хоть часть процентов по долгу; наконец, остатки уходят на наследников. Мачеха получила свою четырнадцатую часть, вас трое...

– Моя часть целиком уходила на хлопоты, Василий Назарыч.

– Разве я не знаю... Что же, ты видел эту... ну, мачеху свою?

– Нет, я сам не видал, а слышал много.

– Она все в Москве?

– Да. Второй брат страдает тихим помешательством, а младший, Тит, пропал без вести.

– Да, слышал, слышал... Что-нибудь да не чисто в этом деле, я так думаю.

– Теперь трудно сказать, Василий Назарыч.

– Взять теперешних ваших опекунов: Ляховский – тот давно присосался, но поймать его ужасно трудно; Половодов еще только присматривается, нельзя ли сорвать свою долю. Когда я был опекуном, я из кожи лез, чтобы, по крайней мере, привести все в ясность; из-за этого и с Ляховским рассорился, и опеку оставил, а на мое место вдруг назначают Половодова. Если бы я знал... Мне хотелось припугнуть Ляховского, а тут вышла вон какая история. Кто бы этого мог ожидать? Погорячился, все дело испортил.

– Зачем вы так говорите, Василий Назарыч?

– А вот поживи с мое, тогда и сам узнаешь, что и чего стоит. Нет, голубчик, трудно жить на белом свете: везде неправда, везде ложь да обман. Ведь ограбили же вас, сирот; отец оставил вам Шатровские заводы в полном ходу; тогда они больше шести миллионов стоили, а теперь, если пойдут за долг с молотка, и четырех не дадут. Одной земли четыреста тысяч десятин под заводами... Ох-хо-хо! Не думал я дожить до того, чтобы Шатровские заводы продали за долги. Ведь половина в этих заводах сделана на гуляевские капиталы Да, Павел-то Михайлыч и дочку-то свою загубил из-за них... Ну, будет, ступай теперь к бабам, а я отдохну.

Бахарев воспользовался случаем выслать Привалова из кабинета, чтобы скрыть овладевшее им волнение; об отдыхе, конечно, не могло быть и речи, и он безмолвно лежал все время с открытыми глазами. Появление Привалова обрадовало честного старика и вместе с тем вызвало всю желчь, какая давно накопилась у него на сердце.

VII

Хиония Алексеевна поспешила сейчас же удалиться, как только слышала шаги подходящего Привалова; она громко расцеловала Верочку и, пожимая руку Марьи Степановны, проговорила с ударением:

– Я не хочу вам мешать теперь, потому что вы ведь *свои*...

Привалов шел не один; с ним рядом выступал Виктор Васильевич, пока еще не знавший, как ему держать себя. Марья Степановна увела гостя в свою гостиную, куда Досифея подала на стеклянных старинных тарелочках несколько сортов варенья и в какой-то мудреной китайской посудине ломоть сотового меда.

– Ведь это Досифея? – спрашивал Привалов, когда глухонемая остановилась у дверей, чтобы еще раз посмотреть на гостя.

– Да... вспомнил старуху?

– Помилуйте, мы с Костей частенько воевали с ней, – засмеялся Привалов.

Досифея поняла, что разговор идет о ней, и мимикой объяснила, что Костеньки нет, что его не любит *сам* и что она помнит, как маленький Привалов любил есть соты.

– Я и теперь их люблю, – отвечал Привалов на энергичные жесты Досифеи. – Спасибо, что не забыла меня...

Досифея радостно замычала и скрылась. Марья Степановна принялась усиленно потчевать гостя сладостями, потому что гостеприимство для нее было священной обязанностью. Привалов должен был отведать всего, чтобы не обидеть хозяйки. Он с большим удовольствием слушал степенную речь Марьи Степановны, пока она подробно рассказывала печальную историю Полуяновых, Колпаковых и Размахниных. Почти все или вымерли, или разорились; пошел совсем другой народ, настали и другие порядки. Мимоходом Марья Степановна успела пожаловаться на Василия Назарыча, который заводит новшества: старшую дочь выдумал учить, новую мебель у себя поставил, знает с бритоусами и табашниками. В этих жалобах было столько старчески забавного, что Привалов все время старался рассматривать мелкие розовые и голубые цветочки, которые были рассыпаны по сарафану Марьи Степановны. Сарафан Марьи Степановны был самый старинный, из тяжелой шелковой материи, которая стояла коробом и походила на кожу; он, вероятно, когда-то, очень давно, был бирюзового цвета, а теперь превратился в модный *gris de perle*.⁷

– Какой у вас старинный сарафан, – проговорил Привалов.

Эта похвала заставила Марью Степановну даже покраснеть; ко всякой старине она питала нечто вроде благоговения и особенно дорожила коллекцией старинных сарафанов, оставшихся после жены Павла Михайловича Гуляева «с материнной стороны». Она могла рассказать историю каждого из этих сарафанов, служивших для нее живой летописью и биографией давно умерших дорогих людей.

– Это твоей бабушки сарафан-то, – объяснила Марья Степановна. – Павел Михайлыч, когда в Москву ездил, так привез материю... Нынче уж нет таких материй, – с тяжелым вздохом прибавила старушка, расправляя рукой складку на сарафане. – Нынче ваши дамы сошьют платье, два раза наденут – и подавай новое. Материи другие пошли, и люди не такие, как прежде.

– Ну, маменька, нынче люди самые настоящие, – заметил Виктор Васильевич, которому давно надоело слушать эти разговоры о старинных людях.

– Поди ты... Нашел настоящих людей!

– Значит, и мы с Сергеем Александрычем никуда не годимся?

– Перестань балясы точить: я дело говорю.

⁷ серебристо-серый (*фр.*).

Верочке давно хотелось принять участие в этой беседе, но она одна не решалась проникнуть в гостиную и вошла туда только за спиной Надежды Васильевны и сейчас же спряталась за стул Марьи Степановны. С появлением девушек в комнату ворвались разные детские воспоминания, которые для постороннего человека не имели никакого значения и могли показаться смешными, а для действующих лиц были теперь особенно дороги. Привалов многое успел позабыть из этого детского мира и с особенным удовольствием припоминал разные подробности, которые рассказывала Надежда Васильевна. «Помните вот это-то?», «А помните, как Виктор...». Эти фразы мягко ласкали слух, и Привалов с глубоким наслаждением чувствовал на себе теплоту домашнего очага, которого лишила его судьба. Как все это было давно и, вместе, точно случилось только вчера!..

– Будет вам, стрекозы, – строго остановила Марья Степановна, когда всеми овладело самое оживленное настроение, последнее было неприлично, потому что Привалов был все-таки посторонний человек и мог осудить. – Мы вот все болтаем тут разные пустяки, а ты нам ничего не расскажешь о себе, Сергей Александрыч.

– Право, не знаю, что и рассказывать, Марья Степановна, – ответил Привалов.

– На вот, жил пятнадцать лет в столице, приехал – и рассказать нечего. Мы в деревне, почитай, живем, а вон какие рассказы распустили.

– Мама, какая ты странная, – вступилась Надежда Васильевна. – Все равно мы с тобой не пойдем, если Сергей Александрыч будет рассказывать нам о своих делах по заводам.

– Да ведь пятнадцать лет не видались, Надя... Это вот сарафан полежит пятнадцать лет, и у того сколько новостей: тут моль подбила, там пятно вылежалось. Сергей Александрыч не в сундуке лежал, а с живыми людьми, поди, тоже жил...

Последнее поразило Привалова: оглянувшись на свое прошлое, он должен был сознаться, что еще не начинал даже жить в том смысле, как это понимала Марья Степановна. Сначала занятия в университете, а затем лет семь ушло как-то между рук, – в хлопотах по наследству, в томительном однообразии разных сроков, справок, деловых визитов, в шатании по канцеляриям и департаментам. Жизнь оставалась еще впереди, для нее откладывалось время год за годом, а между тем приходилось уже вычеркивать из этой жизни целых тридцать лет. Прямой вопрос Марьи Степановны, подсказанный ей женским инстинктом, поставил Привалова в неловкое положение, из которого ему было довольно трудно выпутаться; Марья Степановна могла истолковать его молчание о своем прошлом в каком-нибудь дурном смысле. Пришлось рассказывать об университете, о профессорах, о столичных удовольствиях.

«Ну, а как там эти штучки разные?..» – весело думал Виктор Васильич, уносясь в сферу столичных развеселых мест.

VIII

Вечером этого многозначительного дня в кабинете Василия Назарыча происходила такая сцена. Сам старик полулежал на своем диване и был бледнее обыкновенного. На низенькой деревянной скамеечке, на которую Бахарев обыкновенно ставил свою больную ногу, теперь сидела Надежда Васильевна с разгоревшимся лицом и с блестящими глазами.

– Папа, пожалей меня, – говорила девушка, ласкаясь к отцу. – Находиться в положении вещи, которую всякий имеет право приходить осматривать и приторговывать... нет, папа, это поднимает такое нехорошее чувство в душе! Делается как-то обидно и вместе с тем гадко... Взять хоть сегодняшний визит Привалова: если бы я не должна была являться перед ним в качестве товара, которому только из вежливости не смотрят в зубы, я отнеслась бы к нему гораздо лучше, чем теперь.

– В чем же это Привалов так провинился пред тобой? – с добродушной улыбкой спрашивал Василий Назарыч.

– Да начать хоть с Хины, папа. Ну, скажи, пожалуйста, какое ей дело до меня? А между тем она является с своими двусмысленными улыбками к нам в дом, шепчет мне глупости, выворачивает глаза то на меня, то на Привалова. И положение Привалова было самое глупое, и мое тоже не лучше.

– Да ведь ты хорошо знаешь, что я никогда не приглашаю Хины; я в дела мамы не вмешиваюсь.

– Вот я назло маме и Хине нарочно не пойду замуж за Привалова... Я так давеча и маме сказала, что не хочу разыгрывать из себя какую-то крепость в осадном положении.

– Все это так, Надя, но я все-таки не вижу, в чем виноват тут Сергей Александрыч...

– А вот сейчас... В нашем доме является миллионер Привалов; я по необходимости знакомлюсь с ним и по мере этого знакомства открываю в нем самые удивительные таланты, качества и добродетели. Одним словом, я кончаю тем, что начинаю думать: «А ведь не дурно быть madame Приваловой!» Ведь тысячи девушек сделали бы на моем месте именно так...

– Решительно ничего не понимаю... Тебя сводит с ума глупое слово «жених», а ты думай о Привалове просто как о хорошем, умном и честном человеке.

– Нет, постой. Это еще только одна половина мысли. Представь себе, что никакого миллионера Привалова никогда не существовало на свете, а существует миллионер Сидоров, который является к нам в дом и в котором я открываю существо, обремененное всеми человеческими достоинствами, а потом начинаю думать: «А ведь не дурно быть madame Сидоровой!» Отсюда можно вывести только такое заключение, что дело совсем не в том, кто явится к нам в дом, а в том, что я невеста и в качестве таковой должна кончить замужеством.

– Тебя никто не гонит замуж, Надя.

– Я тебя за это и люблю... А мама, Досифея, Лука, Хина – да все, решительно все, кажется, с ума сошли.

– Да, но ведь трудно обвинять людей в том, чего они не в состоянии понимать.

– Вот для того, чтобы показать им всем их глупость, я никогда не пойду замуж, папа.

– И отличное дело: устрою в монастырь... Ха-ха... Бедная моя девочка, ты не совсем здорова сегодня... Только не осуждай мать, не бери этого греха на душу: жизнь долга, Надя; и так и этак передумаешь еще десять раз.

Василий Назарыч рассказал дочери последние известия о положении приваловского наследства и по этому случаю долго припоминал разные эпизоды из жизни Гуляевых и Приваловых. Девушка внимательно слушала все время и проговорила:

– Все-таки, папа, самые хорошие из них были ужасными людьми. Везде самодурство, произвол, насилие... Эта бедная Варвара Гуляева, мать Сергея Александрыча, – сколько, я думаю, она вынесла...

– Да, сошла, бедная, с ума... Вот ты и подумай теперь хоть о положении Привалова: он приехал в Узел – все равно как в чужое место, еще хуже. А знаешь, что загубило всех этих Приваловых? Бесхарактерность. Все они – или насквозь добрейшая душа, или насквозь зверь; ни в чем середины не знали.

– А Сергей Александрыч, по-твоему, папа, как будет?

– Сергей Александрыч... Сергей Александрыч с Константином Васильичем все книжки читали, поэтому из них можно и крупы и муки намолоть. Сережа-то и маленьким когда был, так зверьком и выглядывал: то веревки из него вей, то хоть ты его расколи, – одним словом, приваловская кровь. А впрочем, кто его знает, может, и переменялся.

IX

Фамилии Приваловых и Бахаревых были тесно связаны между собой.

Приваловы как заводовладельцы пользовались большой известностью на Урале. Им принадлежали знаменитые Шатровские заводы, занимавшие площадь в четыреста тысяч десятин богатейшей в свете земли. Как большинство уральских заводчиков, последние представители фамилии Приваловых жили нараспашку, предоставив все заводское дело на усмотрение крепостных управителей. В результате оказалось, конечно, то, что заводское хозяйство начало хромать на обе ноги, и заводы, по всей вероятности, пошли бы с молотка. Но счастливый случай спас их: в половине сороковых годов владельцу Шатровских заводов, Александру Привалову, удалось жениться на дочери знаменитого богача-золотопромышленника Павла Михайлыча Гуляева. Непосредственным результатом слияния этих знаменитых фамилий было появление на свет нашего героя, Сергея Привалова. Оно было встречено и отпраздновано с царской роскошью: гремели пушки, рекой лилось шампанское, и целый месяц в приваловском доме угощались званый и незваный. Павел Михайлыч подарил своему внуку «на зубок» десять пудов золота.

Сергей Привалов помнил своего деда по матери как сквозь сон. Это был высокий, сгорбленный седой старик с необыкновенно живыми глазами. Он страстно любил внука и часто говорил ему:

– Ведь ты у меня один... Один, как перст!..

Шестилетний мальчик не понимал, конечно, значения этих странных слов и смотрел на деда с широко раскрытым ртом. Дело в том, что, несмотря на свои миллионы, Гуляев считал себя глубоко несчастным человеком: у него не было сыновей, была только одна дочь Варвара, выданная за Привалова.

– Что дочь? – рассуждал старик раскольник. – Дочь все одно, что вешняя вода: ждешь ее, радуешься, а она пришла и ушла...

Павел Михайлыч Гуляев был из архангельских помор. Его предки бежали из разоренных скитов на Урал, где в течение целого столетия скитались по лесным дебрям и раскольничьим притонам, пока не освоились совсем в Шатровских заводах. Приваловы, как и другие заводчики, открыто держали всяких беглых и беспаспортных бродяг, потому что этот разношерстный гуляющий люд составлял для них главную рабочую силу. Раскольникам они покровительствовали в особенности, потому что они сами тоже придерживались старины, и при помощи золота отводили от них всякие беды и напасти. Когда в первой четверти настоящего столетия были открыты прииски в Восточной Сибири, в глубине енисейской тайги, Павел Гуляев был в числе первых рабочих на золотых приисках. В каких-нибудь десять лет он быстро прошел путь от простого рабочего до звания настоящего золотопромышленника, владевшего одним из лучших приисков во всей Сибири. Крепкий был человек Гуляев, и когда он вернулся на Урал, за ним тянулась блестящая слава миллионера. Из Шатровских заводов Гуляев все-таки не выехал и жил там все время, которое у него оставалось свободным от поездок в тайгу. Громадный деревянный дом, который выстроил себе Гуляев в Шатровском заводе, представлял из себя и крепость, и монастырь, и богато убранные палаты. Это была полная чаша во вкусе того доброго старого времени, когда произвол, насилия и все темные силы крепостничества уживались рядом с самыми светлыми проявлениями человеческой души и мысли. Жизнь в гуляевских палатах была создана по типу древнего благочестия, в жертву которому здесь приносилось все.

Мы уже сказали, что у Гуляева была всего одна дочь Варвара, которую он любил и не любил в одно и то же время, потому что это была дочь, тогда как упрямому старику нужен был сын. Избыток того чувства, которым Гуляев тяготел к несуществующему сыну, естественно, переходил на других, и в гуляевском доме проживала целая толпа разных сирот, девочек и

мальчиков. По большей части это были дети гонимых раскольников, задышавшихся по тюрьмам и острогам; Гуляеву привозили их со всех сторон, где только гнезвился раскол: с Ветки, из Керженских лесов, с Иргиза, из Стародубья, Чернораменских скитов и т. д. Эти дети составляли что-то вроде одного семейства, гревшегося под гостеприимной кровлей гуляевских палат. Они получали строгое воспитание под началом раскольниковых начетчиц и старцев, и потом мальчики увозились на прииски, девочки выходили замуж или терпеливо ждали своих суженых.

– Ну, что мое гнездо? – спрашивал обыкновенно Гуляев, когда приезжал с приисков домой.

Это «гнездо» вносило совершенно особенную струю в гуляевский дом. Около старого раскольника Гуляева создавалось что-то вроде домашнего культа. «Это сказал сам Павел Михайлыч», «Так делает сам Павел Михайлыч» – выше этого ничего не было. Слово Гуляева было законом. Из этого гуляевского гнезда вышло много крепких людей, известных всему Уралу и в Сибири. Фамилии Колпаковых, Полуяновых, Бахаревых – все это были птенцы гуляевского гнезда, получившие там вместе с кровом и родительской лаской тот особенный закал, которым они резко отличались между всеми другими людьми. В них продолжали жить черты гуляевского характера – выдержка, сила воли, энергия, неизменная преданность старой вере, – одним словом, все то, что давало им право на название крепких людей.

Василий Назарыч Бахарев и Марья Степановна, известные в гуляевском доме под названием Васи и Маши, пользовались особенной любовью старика Гуляева. Они были круглыми сиротами и всеми силами молодой души приросли к гуляевскому дому. Марья Степановна как женщина окружила жизнь в этом доме целым ореолом святых для нее воспоминаний. Из них прежде всего, конечно, выступала типичная фигура самого Павла Михайлыча, затем его жены и дочери Варвары, вышедшей впоследствии за Александра Привалова. Поэтому понятно, что на сына своей подруги Марья Степановна смотрела глазами родной матери. Один вид Сергея Привалова поднимал пред ней целый ряд дорогих ее сердцу покойников. Брак между Васей и Машей был актом воли Павла Михайлыча. Старик однажды пригласил в свой кабинет Машу и, указывая на Васю, сказал всего только несколько слов: «Вот, Маша, тебе жених... После спасибо мне скажешь». Девушка повалилась в ноги своему названому отцу, и этим вся церемония закончилась. Через две недели Бахаревы были повенчаны по раскольниковому обряду.

– Береги его, Маша, – проговорил Гуляев, когда поздравлял молодых. – У меня Василий правая рука... Вот тебе мой сказ.

Бахарев действительно был правой рукой Гуляева и с десяти лет находился при нем неотлучно. Они исколесили всю Сибирь, и мало-помалу Бахарев сделался поверенным Гуляева и затем необходимым для него человеком.

Когда Гуляев выдал свою дочь за Привалова, он сказал Бахареву:

– Не видать бы Привалову моей Варвары, как своих ушей, только уж, видно, такое его счастье... Не для него это дерево растилось, Вася, да, видно, от своей судьбы не уйдешь. Природа-то хороша приваловская... Да и заводов жаль, Вася: погинули бы ни за грош. Ну, да уж теперь нечего тужить: снявши голову, по волосам не плачут.

Брак Варвары Гуляевой был еще оригинальнее, чем замужество Марьи Степановны. Последняя имела хоть некоторое основание подозревать, что ее выдадут за Бахарева, и свылась с этой мыслью, а дочь миллионера даже не видала ни разу своего жениха, равным образом как и он ее. Когда, перед сватовством, жениху захотелось хоть издали взглянуть на будущую подругу своей жизни, это позволили ему сделать только в виде исключительной милости, и то при таких условиях: жениха заперли в комнату, и он мог видеть невесту только в замочную скважину. Этот оригинальный брак был заключен из политических расчетов: раз, чтобы не допустить разорения Шатровских заводов, и, второе, чтобы соединить две такие фамилии, как Приваловы и Гуляевы. Павел Михайлыч никогда не любил своего зятя, но относился с глу-

боким уважением к фамилии, которую тот носил. В жертву этой фамилии была принесена и Варвара Гуляева.

Рождение внука было для старика Гуляева торжеством его идеи. Он сам помолодел и пестовал маленького Сережу, как того сына, которого не мог дождаться.

– Вот, Вася, и на нашей улице праздник, – говорил Гуляев своему поверенному. – Вот кому оставляю все, а ты это помни: ежели и меня не будет, – все Сергею... Вот мой сказ.

Что нашла Варвара Гуляева в новой семье, – об этом никто не говорил, да едва ли кто-нибудь интересовался этим. Девушка разделила судьбу других богатых невест: все завидовали ее счастью, которое заключалось в гуляевских и приваловских миллионах. Богатая и вышла за богатого, – в эту роковую формулу укладывались все незамысловатые требования и соображения того времени, точно так же, как и нашего. В муже она нашла бесхарактерного, но доброго человека, который по-своему ее любил. Гуляев еще раньше выстроил дочери в ближайшем уездном городе Узле целый дворец, в котором сам был только раз в жизни, именно когда у него родился внук. Старик слишком прирос к своему гнезду, чтобы менять его на узловские палаты. Отношения его к зятю были немного странные: во-первых, он ничего не дал за дочерью, кроме дома и богатого приданого; во-вторых, он не выносил присутствия зятя, над которым смеялся в глаза и за глаза, может быть, слишком жестоко. Но заводы были поддержаны гуляевскими капиталами, хотя и поступили под его полную опеку. Затем, когда сам Гуляев совсем состарился, он принял зятя в часть по своим сибирским приискам, причем всем делом верховодил по-прежнему Бахарев.

В таком положении дела оставались до самой смерти Гуляева; старик и умер не так, как умирают другие люди. Бахарев был в тайге, когда получил с нарочным коротенькую записку Гуляева: «Вася, приезжай похоронить меня...» Дело было летнее. Работа на приисках кипела, но Бахареву пришлось оставить все и сломя голову лететь в Шатровские заводы. Когда его повозка остановилась перед крыльцом гуляевского дома, больной старик открыл глаза и проговорил: «Это Вася приехал...» Собственно, старик не был даже болен, и по его наружности нельзя было заключить об опасности.

– Нет, Вася, умру... – слабым голосом шептал старик, когда Бахарев старался его успокоить. – Только вот тебя и ждал, Вася. Надо мне с тобой переговорить... Все, что у меня есть, все оставляю моему внуку Сергею... Не оставляй его... О Варваре тоже позаботься: ей еще много горя будет, как я умру...

Зятя Гуляев не пожелал видеть даже перед смертью и простился с ним заочно. Вечером, через несколько часов после приезда Бахарева, он уснул на руках дочери и Бахарева, чтоб больше не просыпаться.

Предсказание старика Гуляева скоро исполнилось.

После его смерти все в его собственном доме и в доме Привалова пошло вверх дном. Грозы больше не было, и Александр Привалов развернулся. Он только рассмеялся, когда узнал, что Гуляев все капиталы завещал внуку. В качестве опекуна собственного сына он принял все хозяйство на себя. Гнездо было разорено, и в приваловских палатах полилась широкой рекой такая жизнь, о которой по настоящее время ходят баснословные слухи. Все усилия Бахарева и жены Привалова отстоять интересы Сергея Привалова разлетелись прахом. Александр Привалов слишком долго ждал и слишком много выносил от своего тестя, чтобы теперь не вознаграждать себя сторицей. Это печальное время совпало как раз с открытием богатейших золотоносных россыпей в глубине Саянских гор, что было уже делом Бахарева, который теперь вел дело в компании с Приваловым. Несмотря на свою близость к старику Гуляеву, а также и на то, что в течение многих лет он вел все его громадные дела, Бахарев сам по себе ничего не имел, кроме знания приискового дела и несокрушимой энергии. Неудачи только разжигали его прямую натуру, и он с новыми силами шагал почти через непреодолимые препятствия. Разведки в Саянских горах живо унесли у него последние сбережения, и он принужден был принять к

себе в компанию Привалова, то есть вести дело уже на приваловские капиталы. Сам Привалов относился к Бахареву с слепым доверием. Первый прииск, открытый на безыменной горной речке, был назван в честь жены Привалова Варваринским. Этот прииск в течение десяти лет, в сороковых годах, дал чистой прибыли больше десяти миллионов. Таким образом, в руках Александра Привалова очутились баснословные богатства, которыми он распорядился по-своему и которые стоили его жене жизни.

Беспримерное, чудовищное богатство Привалова создало жизнь баснословную в летописях Урала. Этот магнат-золотопромышленник, как какой-то французский король, готов был платить десятки тысяч за всякое новое удовольствие, которое могло бы хоть на время оживить притупленные нервы. Гуляевский дом в Узле был отделан с царской роскошью. Какая жизнь происходила в этом дворце в наше расчетливое, грошовое время, – трудно даже представить; можно сказать только, что русская натура развернулась здесь во всю свою ширь. С утра до ночи в приваловских палатах стоял пир горой, и в этом разлильном море угощались званый и незваный. И в то же время в том же самом доме в тайных молельнях совершалась постоянная раскольничья служба. Часто и хозяин и гости прямо с пьяной оргии попадали в моленные и здесь отбивали земные поклоны до синяков на лбу. Словом, жизнь, не сдерживаемая более ничем, не знала середины и лилась через край широкой волной, захватывая все на своем пути. Но обыкновенной роскоши, обыкновенного мотовства этим неистовым детям природы было мало. Какой-то дикий разгул овладел всеми: на целые десятки верст дорога устилается красным сукном, чтобы только проехать по ней пьяной компании на бешеных тройках; лошадей не только поят, но даже моют шампанским; бесчисленные гости располагаются как у себя дома, и их угощают целым гаремом из крепостных красавиц.

Александр Привалов, потерявший голову в этой бесконечной оргии, совсем изменился и, как говорили о нем, – задурил. Вконец притупившиеся нервы и расслабленные развратом чувства не могли уже возбуждаться вином и удовольствиями: нужны были человеческие страдания, стоны, вопли, человеческая кровь.

В числе благоприятелей Привалова особенной известностью пользовался некоторый Сашка Холостов, отставной казачий офицер. Это был атлетически сложенный человек, выпивавший зараз дюжину шампанского и ходивший, для потехи своего патрона, на медведя один на один. Этот Сашка был настоящий зверь, родившийся по ошибке человеком. Он пользовался неограниченным влиянием в доме. Без Сашки Привалов не мог жить и даже укладывал его спать в свою собственную спальню. Стоило Привалову сказать: «скучно», и Сашка придумывал какую-нибудь шутку, чтобы развлечь его. Известно, что круг удовольствий, доступных человеку, крайне ограничен, поэтому Сашке пришлось очень скоро обратиться к безобразиям. Несчастливая жена Привалова, конечно, не могла сочувствовать той жизни, которая творилась вокруг нее. Воспитанная в самых строгих правилах беспрекословного повиновения мужней воле, она все-таки как женщина, как жена и мать не могла помириться с теми оргиями, которые совершались в ее собственном доме, почти у нее на глазах. Потерявшаяся в этом вихре одинокая женщина могла только всеми силами ненавидеть Сашку, которого считала источником всяких бед и злочлчений. Сашка и начал с нее.

Прежде всего Сашка подействовал на супружеские чувства Привалова и разбудил в нем ревность к жене. За ней следят, ловят каждое ее слово, каждый взгляд, каждое движение... Сашка является гениальным изобретателем в этой чудовищной травле. Счастливая наследница миллионов кончила сумасшествием и умерла в доме Бахарева, куда ее принесли после одной «науки» мужа запертво.

Сергею Привалову в это время было лет семь или восемь. Он едва помнил мать, но в его памяти отчетливо сохранилась картина торжественных похорон. Отца он помнил тоже по этому исключительному обстоятельству. Александру Привалову было тогда лет сорок пять. Это был широкоплечий, сторбившийся человек, с опухшим желтым лицом и блуждающим

утомленным взглядом бесстрастных серых глаз. На лбу были глубокие морщины, волосы открывали лысину, рот складывался в искривленную, неестественную улыбку. Мальчик боялся отца и был несказанно рад, когда он, сейчас после похорон, сказал Бахареву:

– Вот тебе Сергей... Делай с ним, что хочешь, только, ради бога, уведи отсюда!..

После смерти жены Привалов окончательно задурил, и его дом превратился в какой-то ад: ночью шли оргии, а днем лилась кровь крепостных крестьян, и далеко разносились их стоны и крики.

Все эти безобразия закончились неожиданной развязкой... Привалов выписал из Москвы хор цыган с красавицей Стешей во главе. Эта примадонна женила на себе опустившего окончательно золотопромышленника, а сама на глазах мужа стала жить с Сашкой. Однако нашлись добрые люди, которые открыли Привалову глаза на все творившиеся около него безобразия. Он решился примерно наказать неверную жену и вероломного друга, – попросту хотел замуровать их в стене, но этот великолепный план был разрушен хитрой цыганкой: ночью при помощи Сашки она выбросила Привалова в окно с высоты третьего этажа. На другой день в саду нашли его окоченелый труп.

После Привалова остались три сына: старший – Сергей, от первой жены, и двое, Иван и Тит, от Стешы. Вскоре после смерти мужа Стеша вышла замуж за Сашку, который был сделан опекуном над малолетними наследниками. Из предыдущего можно себе представить, что это был за опекун. В каких-нибудь пять лет он не только спустил последние капиталы, которые остались после Привалова, но чуть было совсем не пустил все заводы с молотка. Бахарев энергично вступился в это дело, и Сашка ограничился только залогом в государственный банк несуществовавшего металла. Это делалось таким образом: сначала закладывалась черная болванка, затем первый передел из нее и, наконец, окончательно выделанное сортовое железо. Конечно, эта замысловатая операция не могла быть выполнена одним Сашкой, а он действовал при помощи горного исправника и иных. Во всяком случае, эта ловкая комбинация дала Сашке целый миллион, но в скором времени вся история раскрылась, и Сашка попал под суд, под которым и находился лет пятнадцать. Это вопиющее дело началось еще при старом судопроизводстве, проходило через десятки административных инстанций и кончилось как раз в тот момент, когда Сашка лежал на столе. Долг, сделанный им, был переведен на заводы.

Одного только не удалось сделать Сашке, – это захватить гуляевские капиталы, которые шли в часть старшего из наследников. Бахарев два раза съездил в Петербург, чтобы отстоять интересы Сергея Привалова, и, наконец, добился своего: гуляевские капиталы, то есть только остатки от них, потому что Александр Привалов не различал своего от имущества жены и много растратил, – были выделены в часть Сергея Привалова. Ему же достался гуляевский дом в Узле, который был дан стариком Гуляевым в приданое за дочь. Мальчик еще при жизни отца находился под руководством Бахарева и жил в его доме; после смерти Александра Привалова Бахарев сделался опекуном его сына и с своей стороны употребил все усилия, чтобы дать всеми оставленному сироте приличное воспитание. Таким образом, Сережа Привалов долго жил в бахаревском доме и учился вместе с старшим сыном Бахарева Костей. Что касается двух других наследников, то Стеша, когда Сашка пошел под суд, увезла их с собой в Москву, где и занялась сама их воспитанием. Так как из всего имущества, которое осталось после Александра Привалова, Шатровские заводы оставались неразделенными за малолетством наследников, Бахарев в интересах Сергея Привалова вступил в число опекунов, назначенных от правительства. Он много и энергично хлопотал, чтобы поднять упавшую производительность этих когда-то знаменитых заводов, и достиг своей цели только тогда, когда ему на помощь явился его старший сын Костя, который, кончив курс в университете, поступил управляющим в Шатровские заводы.

Х

Жизнь в бахаревском доме навсегда осталась для Привалова самой светлой страницей в его воспоминаниях. Все, что он привык уважать и считал лучшим, он соединял в своем уме с именем Бахаревых.

Эта жизнь являлась сколком с той жизни, которая когда-то происходила в хоромы Павла Михайлыча Гуляева. Марья Степановна свято блюла все свечаи и обычаи, правила и обряды, которые вынесла из гуляевского дома; ей казалось святотатством переступить хотя одну йоту из заветов этой угасшей семьи, служившей в течение века самым крепким оплотом древнего благочестия. Гуляевский дух еще жил в бахаревском доме, им держался весь строй семьи и, по видимому, вливал в нее новые силы в затруднительных случаях. Карьера всякого золотопромышленника полна превратностей и внезапных превращений, а судьба Василия Назарыча была особенно богата такими превращениями. Громадные барыши и убытки чередовались между собой. Это переменное счастье проходило красной нитью через всю его жизнь и придавало ей особенно интересную окраску.

Сергей Привалов прожил в бахаревском доме до пятнадцати лет, а затем вместе с своим другом Костей был отправлен в Петербург, где и прожил безвыездно до настоящего времени, то есть больше пятнадцати лет.

За этот промежуток времени в бахаревском доме произошли очень крупные перемены. Начать с того, что теперь дом резко разделялся на две половины: половину Марьи Степановны и половину Василия Назарыча. Собственно говоря, такое разделение существовало только для одной Марьи Степановны, которая уже в течение десяти лет не переступала порога половины мужа. Сам Бахарев и дети совсем не признавали такого разделения и одинаково пользовались обеими половинами. Это разделение произошло мучительным путем семейных недоразумений и несогласий. Дети подрастали. Нужно было давать им воспитание. Василий Назарыч, обращавшийся в пестрой семье золотопромышленников, насмотрелся на всяких людей и пришел к тому убеждению, что воспитывать детей в духе исключительности раскольничьих преданий немислимо. С своей стороны он желал дать им лучшее образование, поставить на дорогу, а там – как знают. В Сибири Бахареву часто приходилось встречаться с образованными честными людьми; он чутьем понял могучую силу образования и желал видеть в своих детях прежде всего образованных людей. Эти взгляды на воспитание встретили жестокий отпор со стороны Марьи Степановны, которая прожила целую жизнь в замкнутой раскольничьей среде и не хотела знать никаких новшеств. После долгой борьбы она все-таки сдалась для сыновей, дочерей же не позволяла ни под каким видом «басурманить». Но здесь Бахареву было уже значительно легче выиграть дело, потому что в лице сыновей он имел известный прецедент и некоторую помощь. Они уже вносили с собой новую струю в жизнь бахаревского дома; одно их присутствие говорило о другой жизни. После долгих колебаний дело разрешилось вполнину: старшую дочь Надежду Марья Степановна уступила отцу, а младшую оставила при себе.

– Ты от меня ее взял, ты и в ответе, – коротко резюмировала свою последнюю волю Марья Степановна. – Если бы жив был Павел Михайлыч...

– Маша, Маша, – уговаривал жену Бахарев, – ведь теперь другие люди, другое время...

– Ну и живи с другими людьми!

С этого времени и произошло разделение бахаревского дома на две половины: Марья Степановна в этой форме заявила свой последний и окончательный протест.

Василий Назарыч, отстаивая образование детей, незаметно сам втянулся в новую среду, вошел в сношения с новыми людьми, и на его половине окончательно поселился дух новшеств. На этой половине роль хозяйки с двенадцати лет принадлежала Надежде Васильевне, которая из всех детей была самой близкой сердцу Василия Назарыча. Он любил с нею рассуждать о

своих делах и часто поверял ей свои самые душевные мысли. Из этих дружеских отношений между отцом и дочерью постепенно выработался совершенно особенный склад жизни на половине Василья Назарыча: другие разговоры, интересы и даже самый язык. Отец и дочь понимали друг друга по одному движению, с полуслова.

Старшего сына, Костю, Бахарев тоже очень любил, но тот почти совсем не жил дома, а когда, по окончании университетского курса, он вернулся домой, между ними и произошли те «контры», о которых Лука сообщил Привалову. Дело в том, что Константин Бахарев был упрям не менее отца, а известно, что двум медведям плохо жить в одной берлоге. После одного крупного разговора отец и сын разошлись окончательно, хотя, собственно говоря, все дело вышло из пустяков. Это обстоятельство окончательно сблизило отца и дочь, так что Василий Назарыч не мог жить без нее. Надежда Васильевна понимала, что отец инстинктивно старается найти в ней то, что потерял в старшем сыне, то есть опору наступавшей бессильной старости; она делала все, чтобы подняться до уровня отцовского мирозерцания, и вполне достигла своей цели.

Как это ни странно, но главным фаворитом и родительской слабостью Марьи Степановны был ее сынок Виктор Васильич. Он никогда не выходил из ее воли, после всякой проказы или шалости немедленно просил прощения, раскаивался со слезами и давал тысячу обещаний исправиться. Вместе с годами из детских шалостей выросли крупные недостатки, и Виктор Васильич больше не просил у матери прощения, полагаясь на время и на ее родительскую любовь. Выгнанный из третьего класса гимназии, он оставался без определенных занятий, и Василий Назарыч давно махнул на него рукой. По натуре добрый и по-своему неглупый, Виктор Васильич был тем, что называется «рубаха-парень», то есть не мог не делать того, что делали другие, и шел туда, куда его толкали обстоятельства. Это была неустойчивая, подвижная, крайне впечатлительная натура, искавшая деятельности и не находившая ее. Попеременно Виктор Васильич был мыловаром, техником, разведчиком алмазных копей; теперь он пока успокоился на звании укусного заводчика, потому что Василий Назарыч наотрез отказался оплачивать все другие его затеи. Вообще отец на многое по отношению к младшему сыну смотрел сквозь пальцы, не желая напрасно огорчать жену, и часто делал вид, что не подозревает печальной истины. Свою неудовлетворенную жажду деятельности Виктор Васильич с лихвой выкупал на поприще всевозможных художеств, где он не знал соперников. Устроить скандал в местном клубе, выбить стекла в избушке какой-нибудь благочестивой вдовы, осветить актрису, отколотить извозчика – все это было делом рук Виктора Васильича и составило ему почетную репутацию в среде узловской *jeunesse doree*.⁸ Марья Степановна оправдывала такое поведение своего блудного сына молодостью и старалась исправить его домашними средствами. В крайних случаях она говорила: «Погоди, вот ужо скажу отцу-то. Он тебе задаст!» Эта невинная угроза слишком часто повторялась в своей стереотипной форме, чтобы напугать даже менее смелого человека, чем Виктор Васильич.

На втором плане, сейчас за Виктором Васильичем, стояла Верочка, или Верета, как называл ее Виктор Васильич, она же и «булка». Это была самая обыкновенная девушка, любившая больше всего на свете плотно покушать, крепко выспаться и визжать на целый дом. К печатной бумаге Верочка питала непреодолимое отвращение и употребляла ее только на обертки. Все в доме любили Верочку и считали ее простушкой и кисейной барышней. Последнее было не совсем справедливо. Верочка была очень практичной особой, и в ее красивой беззаботной головке жил сильный и здоровый, недоступный увлечениям ум. Такие барышни терпеливо дожидаются своих женихов, потом, повинувшись родительской воле, с расчетом выходят замуж, выводят дюжину краснощеких ребят, постепенно превращаются сначала в приличных и даже строгих дам, а потом в тех добрейших, милых старушек, которые выращивают внуков

⁸ золотой молодежи (*фр.*).

и правнуков и терпеливо доживают до восьмого десятка. С детства Верочка любила ходить вместе с немой Досифеей в кухню, прачечную, погреб и кладовые; помогала солить капусту, разводила цветы и вечно возилась с выброшенными на улицу котятками, которых терпеливо выкармливала, а потом раздавала по своим знакомым. Это практическое направление с годами настолько развилось и окрепло, что в шестнадцать лет Верочка держала в своих ручках почти целый дом, причем с ловкостью настоящего дипломата всегда умела остаться в тени, в стороне. По всему дому раздавался громкий голос Верочки и ее заразительный смех. Вместе с тем Верочка была очень суеверна и была убеждена, что все сны и приметы непременно сбываются. Набожна она была, как монахиня, и выстаивала, не моргнув глазом, самую длинную раскольничью службу, какая совершалась в моленной Марьи Степановны. Принять странника или раскольничью начетчицу, утешить плачущего ребенка, помочь больному, поговорить со стариками и старухами – все это умела сделать Верочка, как никто другой. У нее для всех обиженных судьбой и людьми всегда было в запасе ласковое, теплое слово, она умела и утешить, и погоревать вместе, а при случае и поплакать; но Верочка умела и не любить, – ее трудно было вывести из себя, но раз это произошло, она не забывала обиды и не умела прощать.

XI

Приезд Привалова в уездный город Узел сделался событием дня, о котором говорили все, решительно все. Стоустая молва разнесла целую массу подробностей о его появлении в Узле, о каждом его шаге, каждом слове. Подняты были все те факты, которые давно позабылись и, казалось, навеки умерли вместе со своими героями. Таким образом сложилась почти чудовищная легенда, где была вязалась с небылицами, ложь с действительностью, вымысел и фантазия с именами живых людей. Имена Александра Привалова, Гуляева, Сашки и Шешки воскресли с новой силой, и около них, как около мифологических героев, выросли предания, сказания очевидцев и главным образом те украшения, которые делаются добрыми скучающими людьми для красного словца. Для этой гигантской работы застоявшейся провинциальной мысли и не знавшей удержу фантазии достаточно было всего нескольких дней, пока Привалов отдыхал от дороги в «Золотом якорю». Наследство Привалова в эти несколько дней выросло до ста миллионов, и, кроме того, ходили самые упорные слухи о каких-то зарытых сокровищах, которые остались после старика Гуляева. На этой исторической почве быстро создалось и то настоящее, героем которого был действительный, невымышленный Сергей Привалов, сидевший в рублевом номере и виденный почти всеми.

Когда на сцену выступил сам Сергей Привалов, естественно, что общее внимание прежде всего обратилось к тому неизвестному, откуда он появился. В самом деле, что делал этот миллионер в Петербурге? Зачем он жил там до тридцати лет? Какую роль играют в этом старик Бахарев и опекуны? Вырастал целый лес таких вопросов, которые требовали самых остроумных догадок, объяснений, пикантных подробностей, свидетельских показаний. Прежде всего, конечно, всем и каждому было ясно то обстоятельство, что здесь была замешана женщина... Да, именно женщина, даже, может быть, и не одна, а две, три, дюжина. Итак: где женщина? Нашлись, конечно, сейчас же такие люди, которые или что-нибудь видели своими глазами, или что-нибудь слышали собственными ушами; другим стоило только порыться в своей памяти и припомнить, что было сказано кем-то и когда-то; большинство ссылалось без зазрения совести на самых достоверных людей, отличных знакомых и близких родных, которые никогда не согласятся лгать и придумывать от себя, а имеют прекрасное обыкновение говорить только одну правду. Таким образом сделалось всем известно, что Привалов провел в Петербурге очень бурную молодость в среде *jeunesse doree* самой высшей пробы; подробно описывали наружность его любовниц с стереотипными французскими кличками, те подарки, которые они в разное время получали от Привалова в форме букетов из сторублевых ассигнаций, баснословной величины брильянтов, целых отелей, убранных с княжеской роскошью. Нужно заметить, что все вышесказанное занимало только легкомысленные умы. Более серьезные и проникательные субъекты мало интересовались такими бреднями и старались разрешить вопрос, зачем Привалов приехал в Узел. Налицо уже было два очень красноречивых факта: во-первых, Привалов остановился в рублевом номере, во-вторых, он сделал первый визит Бахаревым на другой же день. Первый факт можно объяснить или тем, что Привалов навсегда покончил свою веселую жизнь с Блянш и Сюжет и намеревается посвятить себя мудрой экономии, или тем, что он хотел показать себя для первого раза оригиналом, или же, наконец, тем, что он думал сделать себе маленькое *incognito*. Объяснение второго факта не представляло такой простоты. Что заставило Привалова сделать визит Бахареву сейчас же по своем приезде в Узел? Почему он, Привалов, не сделал такого же визита своим опекунам? Не хотел ли он этим показать последним свое неудовольствие? Не находится ли в связи с этим подозрительная болезнь старика Бахарева? Наконец, может быть, Привалов приехал просто жениться на одной из дочерей Бахарева? Еще более интереса представлял тот вопрос, как отнесутся к этому факту опекуны Привалова, если

принять его как вызов... Да, тут было над чем поломать голову, – заварилась очень крупная каша даже не для уездного города.

– Мне всего удивительнее во всем этом деле кажется поведение Хионии Алексеевны, – несколько раз довольно многозначительно повторила Агриппина Филипповна Веревкина, представительница узловского beau monde'a.⁹ – Представьте: утром, в самый день приезда Привалова, она посылает ко мне свою горничную сказать, что приехал Привалов, а затем как в воду канула... Не понимаю, решительно не понимаю!..

Хиония Алексеевна в эти немногие дни не только не имела времени посетить свою приятельницу, но даже потеряла всякое представление о переменах дня и ночи. У нее был полон рот самых необходимых хлопот, потому что нужно было приготовить квартиру для Привалова в ее маленьком домике. Согласитесь, что это была самая трудная и сложная задача, какую только приходилось когда-нибудь решать Хионии Алексеевне. Но прежде мы должны сказать, каким образом все это случилось.

Когда Хиония Алексеевна еще сидела за обедом у Бахаревых, у нее мелькнул в голове отличный план поместить Привалова у себя на квартире. Это был очень смелый план, но Хиония Алексеевна не унывала, принимая во внимание то, что Привалов остановился в рублевом номере, а также некоторые другие материалы, собранные Матрешкой с разных концов. Всего труднее было решить вопрос, в какой форме сделать предложение Привалову: сделать это ей самой – неудобно; Виктор Николаевич решительно был неспособен к выполнению такой дипломатической миссии; оставалось одно: сделать предложение через посредство Бахаревых; но каким образом? Хиония Алексеевна повела дело с дьявольской ловкостью, потому что ей нужно было подготовить Марью Степановну, которая отличалась большим умом и еще большим упрямством. Тонкая дама повела дело самым осторожным образом. Прежде всего ей пришлось пожалеть, что Привалову неудобно поместиться в доме Бахаревых, – злые языки могут бог знает что говорить! Затем она очень подробно распространилась о нынешних молодых людях, которые усваивают себе очень свободные привычки, особенно в столицах. Этим, конечно, Хиония Алексеевна ничего не хотела сказать дурного о Привалове, который стоит выше всех этих сплетен и разных толков, но ведь в провинции ему покажется страшно скучно, и он может увлечься, а если попадет в такое общество... Нет слов, что для Nadine Привалов самая выгодная партия, но ведь все-таки к нему необходимо присмотреться, – кто знает, чтобы не пожалеть после. Вот если бы... Марья Степановна отлично понимала, какую игру затевала Хиония Алексеевна, но несколько времени колебалась и уже затем согласилась посоветовать Привалову пока поместиться в домике Хионии Алексеевны.

– Конечно, только *пока*... – подтверждала Хиония Алексеевна. – Ведь не будет же в самом деле Привалов жить в моей лачуге... Вы знаете, Марья Степановна, как я предана вам, и если хлопочу, то не для своей пользы, а для Nadine. Это такая девушка, такая... Вы не знаете ей цены, Марья Степановна! Да... Притом, знаете, за Приваловым все будут ухаживать, будут его ловить... Возьмите Зосю Ляховскую, Анну Павловну, Лизу Веревкину – ведь все невесты!.. Конечно, всем им далеко до Nadine, но ведь чем враг не шутит.

«Ох-хо-хо! Как бы эта Хина не сплывила нашего жениха в другие руки, – думала Марья Степановна, слушая медовые речи Заплатиной. – Придется ей, видно, браслетку подарить...»

– Ведь вы себе представить не можете, Марья Степановна, какие гордецы все эти Ляховские и Половодовы!.. Уж поверьте мне, что они теперь мечтают... да, именно мечтают, что вот приехал Привалов да прямо к ним в руки и попал...

Когда Марья Степановна посоветовала Привалову занять пока квартиру у m-me Заплатиной, он сейчас же согласился и даже не спросил, сколько комнат ему отведут и где эта квартира.

⁹ высшего света (*фр.*).

– Это та самая дама, которую вы видели у нас за обедом, – объясняла Марья Степановна. – Она очень образованная и живет своим трудом... Болтает иногда много, но все-таки очень умная дама.

– Благодарю вас, – добродушно говорил Привалов, который думал совсем о другом. – Мне ведь очень немного нужно... Надеюсь, что она меня не съест?.. Только вот имя у нее такое мудреное.

– А мы ее Хиной зовем, – может, скорее запомнишь.

– Пусть будет Хина...

Когда Заплата объявила своему мужу фамилию нового жильца, Виктор Николаевич сначала усомнился, а потом с умилением проговорил:

– Ведь ты у меня гениальнейшая женщина!.. А!.. Этакого осетра в жильцы себе заполучила... Да ведь пожить рядом с ним, с миллионером... Фу, черт возьми, какая, однако, выходит канальская штука!..

– А мне, главное, хочется взбесить этих гордецов Половодовых и Ляховских, – задумчиво говорила гениальнейшая женщина. – Воображаю, как это их всех взбесит!.. Ха-ха!..

Хиония Алексеевна гналась не из большого: ей прежде всего хотелось насолить Половодовым и Ляховским, а там – что бог даст. Она еще не обдумала хорошенько всех выгод, которые представляла теперь занятая ею позиция. Ясно было одно, – именно, что ее фонды на узловской бирже должны быстро подняться: такой необыкновенный жених и буквально у нее в руках, за стеной. От неиспытанного счастья у Заплатиной кружилась голова... Вот когда за ней будут ухаживать, все будут заискивать, а она этак свысока посмотрит на них и улыбнется только.

«А там женишок-то кому еще достанется, – думала про себя Хиония Алексеевна, припоминая свои обещания Марье Степановне. – Уж очень Nadine ваша нос кверху задирает. Не велика в перьях птица: хороша дочка Аннушка, да хвалит только мать да бабушка! Конечно, Ляховский гордец и кощей, а если взять Зосю, – вот эта, по-моему, так действительно невеста: всем взяла... Да-с!.. Не чета гордячке Nadine...»

Хиония Алексеевна произносила этот монолог перед зеркалом, откуда на нее смотрело испитое, желтое лицо с выражением хищной птицы, которой неожиданно попала в лапы лакомая добыча. Погрозив себе пальцем, почтенная дама проговорила:

– Главное, Хина, не нужно зарываться... Будь паинькой, а там и на нашей улице праздник будет. Посмотрим теперь, что будут поделявать Ляховские и Половодовы... Ха-ха!.. Может быть, придется и Хине поклониться, господа...

В пылу увлечения Хиония Алексеевна сделала перед зеркалом *pas des nymphes*,¹⁰ как учили ее в пансионе.

¹⁰ танец нимф (*фр.*).

XII

Устроить комнаты для Привалова – составляло для Заплатиной очень замысловатую и сложную задачу, которую она решила в течение нескольких дней самым блестящим образом. Три небольшие уютные комнатки она убрала, как гнездышко. Приличная мебель, драпировки на окнах и дверях, цветы и картины – все было скромно, но очень удобно и с большим вкусом. Матрешка до десяти раз сбегала к лакею Привалова, чтобы подробно разузнать, как его барин жил раньше, какая у него квартира, мебель, любит ли он цветы, ковры и т. д. Согласно собранным сведениям, Заплатина и устроила свои три комнаты. Одна из них служила приемной, другая кабинетом, третья спальней.

Привалов удивился, когда Хиония Алексеевна ввела его во владение новой квартирой: ему очень понравились эти три небольшие комнатки.

– Может быть, я заставил вас сделать лишние издержки? – спрашивал Привалов. – Тогда позвольте мне оставить все вещи за собой.

– О нет, зачем же!.. Не стоит говорить о таких пустяках, Сергей Александрыч. Было бы только для вас удобно, а я все готова сделать. Конечно, я не имею возможности устроить с такой роскошью, к какой вы привыкли...

– Нет, это напрасно, Хиония Алексеевна... Мне именно нравится эта простота.

Хиония Алексеевна была счастлива. Как ни привыкла она лгать, но в настоящем случае она говорила правду. Она готова была сделать все для Привалова, даже сделать не из корыстных видов, как она поступала обыкновенно, а просто потому, что это нужно было для Привалова, это могло понравиться Привалову. Простодушная похвала Привалова заставила ее покраснеть остатками крови, которая еще текла под ее сухой, сморщенной кожей. Одна мысль о том, что она входит в непосредственные сношения с настоящим миллионером, кружила ей голову и нагоняла сладкое опьянение. В ней теперь проснулся тот инстинкт, который двигает всеми художниками: она хотела служить олицетворением миллионов, как брамин служит своему Бrame. Ей казалось, что в своих маленьких комнатках она заперла магическую силу, которая, как магнит, сосредоточит на себе всеобщее внимание... Да, этого было даже слишком достаточно, и Хиония Алексеевна на некоторое время совсем вышла из своей обычной роли и ходила в каком-то тумане. Самые узкие и своекорыстные натуры способны к таким душевным порывам и внутреннему просветлению, когда они действуют не из расчета, а по вдохновению.

Кончив свое дело, Хиония Алексеевна заняла наблюдательную позицию. Человек Привалова, довольно мрачный субъект, с недовольным и глупым лицом (его звали Ипатом), перевез вещи барина на извозчике. Хиония Алексеевна, Матрешка и даже сам Виктор Николаевич, затаив дыхание, следили из-за косяков за каждым движением Ипата, пока он таскал барские чемоданы.

– Видно, что с деньгами, – соображала Матрешка, обращавшаяся в суматохе с барыней самым фамильярным образом. – Тяжелые... страсть!..

– Дура, да разве деньги держат дома?! – обругала Хиония Алексеевна свою верную рабу.

Матрешка всегда держала двугривенные при своей особе, а целковые, которые посылала на ее долю судьба, она прятала иногда в старых тряпицах; поэтому она вопросительно посмотрела на свою барыню – уж не шутит ли она над ней?

– Деньги держат в банке... Понимаешь?.. – объясняла Хиония Алексеевна. – Дома украдут, а там еще проценты заплатят...

Матрешка усомнилась; она не отдала бы своих двугривенных ни в какой банк. «Так и поверила тебе, – думала она, делая глупое лицо, – нашла дуру...»

Очутившись в своей собственной квартире, Привалов вздохнул свободнее. Он как-то сразу полюбил свои три комнатки и с особенным удовольствием раскрыл дорожный сундук,

в котором у него лежали самые дорогие вещи, то есть портрет матери, писанный масляными красками, книги и деловые бумаги. На портрете мать Привалова была нарисована еще очень молодой женщиной с темными волосами и большими голубыми глазами. У Павла Михайлыча Гуляева были такие же глаза и смотрели таким же глубоким, задумчивым взглядом. Тонкие породистые руки с длинными пальцами были выпростаны поверх голубого сарафана с затканными серебряными цветочками; белая кисейная рубашка открывала полную, немного смуглую шею, перехваченную жемчужной ниткой. Старинный кокошник почти совсем закрывал гладко зачесанные волосы, которые только на висках выбивались легкими завитками, придававшими портрету какое-то детское выражение. У Привалова волосы были такие же, как у матери, и он поэтому любил их.

«Что было бы, если бы ты была жива?» – думал Привалов.

Он рассматривал потемневшее полотно и несколько раз тяжело вздохнул: никогда еще ему не было так жаль матери, как именно теперь, и никогда он так не желал ее видеть, как в настоящую минуту. На душе было так хорошо, в голове было столько мыслей, но с кем поделиться ими, кому открыть душу! Привалов чувствовал всем существом своим, что его жизнь осветилась каким-то новым светом, что-то, что его мучило и давило еще так недавно, как-то отпало само собой, и будущее было так ясно, так хорошо.

«Нужно работать и работать», – думал Привалов, разбирая свои бумаги; даже эти мертвые белые листы казались ему совсем другими, точно он их видел в первый раз.

Между прочим, разложив на столе большой план вальцовой мельницы, Привалов долго и особенно внимательно рассматривал его во всех подробностях. На плане мельница была нанесена со всеми пристройками, даже была не забыта крошечная избушка сторожа. Привалов машинально начертил тут же небольшой флигель в пять окон с маленьким цветничком впереди. Именно в этом флигельке теперь билось сердце Привалова, билось хорошим, здоровым чувством, а в окно флигелька смотрело на Привалова такое хорошее девичье лицо с большими темно-серыми глазами и чудной улыбкой.

ХІІІ

Хиония Алексеевна немного рано отпраздновала свою победу: ни Ляховский, ни Половодов не приехали к Привалову с визитом и таким образом вполне сохранили за собой высоту своего положения. Это сердило и удивляло Хионию Алексеевну, потому что она, по странному свойству человеческой природы, переносила все, что относилось до жильца, на собственную особу. Почтенную даму даже бесило поведение Привалова, который, кажется, не хотел понимать коварства своих опекунов и оставался до безобразия спокойным. Хиония Алексеевна зорко следила за каждым его шагом и только презрительно покачивала головой, когда Привалов, выйдя из ворот, поворачивал налево.

– Опять... – произносила Хиония Алексеевна таким тоном, как будто каждый шаг Привалова по направлению к бахаревскому дому был для нее кровной обидой. – И чего он *туда* повадился? Ведь в этой Nadine, право, даже интересного ничего нет... никакой женственности. Удивляюсь, где только у этих мужчин глаза... Какой-нибудь синий чулок и... тьфу!..

Хиония Алексеевна относительно своего жильца начала приходить к тому убеждению, что он, бедняжка, глуповат и позволяет водить себя за нос первой попавшейся на глаза девочке. Несколько раз она нарочно ездила к Марье Степановне, чтобы разузнать, нет ли чего-нибудь нового и что такое мог делать там Привалов. Нового Хиония Алексеевна узнала немного: Привалов больше проводил время в разговоре с Марьей Степановной или в кабинете старика. Nadine была еще глупее Привалова. Она подманивала жениха, как поповна. Со стороны даже было противно смотреть, как она нарочно старалась держаться в стороне от Привалова, чтобы разыграть из себя театральную *ingenue*, а сама то ботинок покажет Привалову из-под платья, то глазами примется работать, как последняя горничная. «Нечего сказать, воспитали сокровище!.. И Марья Степановна тоже хороша, – будто ничего не замечает, какие штучки выкидывает ученая дочка». Хионию Алексеевну начинало задевать за живое все, что она теперь видела в бахаревском доме; она даже подозревала, не думает ли обойтись Марья Степановна совсем без нее. Одна мысль остаться пятым колесом в этой игре бросала Хионию Алексеевну в холодный пот, – она слишком увлеклась своим новым положением.

«Уж больно зачастил что-то, – думала Марья Степановна о Привалове, – пожалуй, люди еще бог знает что наскажут...»

Каждый новый визит Привалова и радовал Марью Степановну, и как-то заботил: она не могла не видеть, что Надя нравилась Привалову и что он инстинктивно ищет ее общества, но уж что-то очень скоро заваривалось то, чего так страстно желала в душе Марья Степановна.

– Ты бы сходил к Ляховскому-то, – советовала она Привалову материнским тоном, – он хоть и басурман, а всех умнее в городе-то. Вот тоже к Половодову надо.

– Я каждый день собираюсь сделать эти визиты и каждый раз откладываю, – отвечал Привалов.

– Знаю, что тяжело тебе к ним идти, – пожалела Марья Степановна, – да что уж будешь делать. Вот и отец то же говорит.

Марья Степановна решила переговорить с дочерью и вывести от нее, не было ли у них чего. Раз она заметила, что они о чем-то так долго разговаривали; Марья Степановна нарочно убралась в свою комнату и сказала, что у нее голова болит: она не хотела мешать «божьему делу», как она называла брак. Но когда она заговорила с дочерью о Привалове, та только засмеялась, странно так засмеялась.

– Право, мама, я вас не узнаю совсем, – говорила Надежда Васильевна, – с чего вы взяли, что я непременно должна выходить за Привалова замуж?

– А хоть бы и так, – худого нет; не все в девках сидеть да книжки свои читать. Вот мудрите с отцом-то, – счастья бог и не посылает. Гляди-ко, двадцать второй год девке пошел, а она

только смеется... В твои-то годы у меня трое детей было, Костеньке шестой год шел. Да отец-то чего смотрит?

– Это все ваша Хина придумывает, мама.

– Хина?! Я и без Хины знаю, матушка.

– Вы, мама, добьетесь того, что я совсем не буду выходить из своей комнаты, когда у нас бывает Привалов. Мне просто совестно... Если человек хорошо относится ко мне, так вы хотите непременно его женить. Мы просто желаем быть хорошими знакомыми – и только.

– Да ведь не с хорошими знакомыми жить-то, а с мужем!

– Муж найдется, мама. В газетах напечатаем, что вот, мол, столько-то есть приданого, а к нему прилагается очень хорошая невеста... За офицера выйду!

– Полно пустяки-то молоть... Тогда в гостиной-то о чем вы целый час разговаривали?

– Вы непременно желаете это знать?

– Я тебя не заставляю исповедоваться, а так, к слову спросила.

– Я тоже к слову скажу вам: я читала книгу, Сергей Александрыч увидел... ну, о книге и говорили.

– Вот ты и оставайся с своей книгой, а Сергей Александрыч поедет к Ляховскому да на Зосе и женится.

– Что же, мама, Зося хорошая девушка, и Сергей Александрыч недурной человек, – отличная парочка выйдет. Я невесту провожать поеду.

– Мудришь много над матерью-то, Надежда Васильевна, – строго закончила Марья Степановна. – После чтобы не плакать...

Василий Назарыч все время прихварывал и почти не выходил из своего кабинета. Он всегда очень любезно принимал Привалова и подолгу разговаривал об опеке. От Надежды Васильевны он знал ее последний разговор с матерью и серьезно ей заметил:

– Надя, мать – старинного покроя женщина, и над ней смеяться грешно. Я тебя ни в чем не стесняю и выдавать силой замуж не буду, только мать все-таки дело говорит: прежде отцы да матери устраивали детей, а нынче нужно самим о своей голове заботиться. Я только могу тебе советовать как твой друг. Где у нас женихи-то в Узле? Два инженера повернутся да какой-нибудь иркутский купец, а Привалов совсем другое дело...

– По всей вероятности, папа, я его и полюбила бы, если бы меня не выставляли невестой.

– Ах ты, господи! Да кто же ты, перестарок, что ли, какой?

– Папа, оставим этот разговор, а то опять рассоримся.

Эти разговоры с дочерью оставляли в душе Василия Назарыча легкую тень неудовольствия, но он старался ее заглушить в себе то шуткой, то усиленными занятиями. Сама Надежда Васильевна очень мало думала о Привалове, потому что ее голова была занята другим. Ей хотелось поскорее уехать в Шатровские заводы, к брату. Там она чувствовала себя как-то необыкновенно легко. Надежде Васильевне особенно хотелось уехать именно теперь, чтобы избавиться от своего неловкого положения невесты.

XIV

Сам Привалов не замечал, как летело время. Та работа, о которой он мечтал, как-то не делалась, а все откладывалась день за день. Не отдавая себе отчета в том, что его тянуло в бахаревский дом, Привалов скучал в те свободные промежутки, которые у него оставались между двумя визитами к Бахаревым. В эти минуты одиночества, когда Привалов насильно усаживал себя за какую-нибудь книгу или за вычисления по каким-нибудь планам, он по десяти раз перебирал в своей памяти все, в чем действующим лицом являлась Надежда Васильевна.

Раз они вдвоем особенно долго гуляли по бахаревскому саду; Марья Степановна обыкновенно сопровождала их в таких случаях или командировала Верочку, но на этот раз к ней кто-то приехал, а Верочки не было дома.

– Отчего вы не хотите ехать к Ляховскому? – откровенно спрашивала Надежда Васильевна, когда они шли по тенистой липовой аллее.

– Мне тяжело ехать, собственно, не к Ляховскому, а в этот старый дом, который построен дедом, Павлом Михайлычем. Вам, конечно, известна история тех безобразий, какие творились в стенах этого дома. Моя мать заплатила своей жизнью за удовольствие жить в нем...

– Но ведь, кроме воспоминаний, есть настоящее, Сергей Александрович.

– Вы хотите сказать о заводах?

– Да, я довольно часто бываю в Шатровском заводе, у Кости, и мы часто говорили с ним о вас. Ведь с судьбой этих заводов связана участь сорокатысячного населения... Костя не любит фантазий, но в заводском деле он просто фанатик, и я очень люблю его именно за это. Мне самой тоже нравятся заводы, и знаете, почему? Не потому, что они стоят так дорого, и даже не потому, что с этими именно заводами срослись наши лучшие семейные воспоминания, – нет, я люблю их за тот особенный дух, который вносит эта работа в жизнь. Что-то такое хорошее, новое, сильное чувствуется каждый раз, когда смотришь на заводское производство. Ведь это новая сила в полном смысле слова...

Они сидели в эту минуту на зеленой садовой скамейке. Лицо Надежды Васильевны горело румянцем, глаза светились и казались еще темнее; она сняла соломенную шляпу с головы и нервно скручивала пальцами колокольчики искусственных ландышей, приколотых к отогнутому полю шляпы. Этот разговор сам собой свелся к планам Привалова; он уже открыл рот, чтобы посвятить Надежду Васильевну в свои заветные мечты, но, взглянув на нее, остановился. Ему показалось даже, что девушка немного отодвинулась от него и как-то особенно посмотрела в дальний конец аллеи, где ярким пятном желтело канареечное платье приближавшейся Верочки.

– Пойдемте; мама ждет нас кофе пить, – проговорила Надежда Васильевна, поднимаясь со скамьи.

Так на этот раз и осталось невысказанным то, чем Привалову хотелось поделиться именно с Надеждой Васильевной.

На половине Марьи Степановны была устроена моленная. Это была длинная комната совсем без окон; человек, незнакомый с расположением моленной, мог десять раз обойти весь дом и не найти ее. Ход в моленную был проведен из темного чуланчика, который был устроен рядом со спальней Марьи Степановны; задняя стенка этого чулана составляла дверь в моленную и для окончательной иллюзии была завешана какими-то старыми шубами. Привалов, не застав Марью Степановну в гостиной, прошел однажды прямо в моленную. Она была там и сама читала за раздвижным аналогом канон богородице; в уголке ютились какие-то старухи в темных платках, повязанных по-раскольничьи, то есть по спине были распушены два конца, как это делают татарки. Седой сгорбленный старик в длиннополом кафтане стоял у правой стены и степенно откладывал поклоны, припадая своей головой к потертому шелковому подрушнику.

Привалова сразу охватила с детства знакомая атмосфера: пахло росным ладаном, воском и деревянным маслом. Вся передняя стена моленной была занята иконостасом, в котором, под дорогими окладами из серебра и золота, темнели образа самого старинного письма. Тут были собраны иконы работы фряжской, старого строгановского письма и произведения кормовых царских изографов. Все эти богатства достались моленной Марьи Степановны как наследство после смерти матери Привалова из разоренной моленной в приваловском доме. Слабо теплившиеся неугасимые лампы бросали колеблющийся свет кругом, выхватывая из окружающей темноты глубокую резьбу обронных риз, хитрые потемневшие узоры басменного дела, поднизи из жемчуга и цветных камней, золотые подвески и ожерелья. Под некоторыми иконами висели богатые пелены с золотыми крестами и дорогим шитьем по углам; на маленьком столике, около самого анаоя, дымилась серебряная кацея.

Голос Марьи Степановны раздавался в моленной с теми особенными интонациями, как читают только раскольники: она читала немного в нос, растягивая слова и произносила «й» как «и». Оглянувшись назад, Привалов заметил в левом углу, сейчас за старухами, знакомую высокую женскую фигуру в большом платке, с сложенными по-раскольничьи на груди руками. Это была Надежда Васильевна.

– Ну вот и хорошо, что пришел с нами помолиться, – говорила Марья Степановна, когда выходила из моленной. – Тут половина образов-то твоих стоит, только я тебе их не отдам пока...

– Почему не отдадите, Марья Степановна?

– Да так... Куда ты с ними? Дело твое холостое, дома присмотреть некому. Не больно вы любите молиться-то. А у меня неугасимая горит, кануны старушки говорят.

– Пусть уж лучше стоят у вас, Марья Степановна, – согласился Привалов.

– Как стоят?

– Да так, как стоят теперь. Мне их не нужно.

– Ну, это ты уж напрасно говоришь, – строго проговорила Марья Степановна. – Не подумал... Это твои родовые иконы; деды и прадеды им молились. Очень уж вы нынче умны стали, гордость одолела.

– Мама, ты не поняла Сергея Александрыча, – вступилась Надежда Васильевна.

– Ну, уж извини, голубушка... Что другое действительно не понимаю, – стара стала и глупа, а уж это-то я понимаю.

Старуха расходилась не на шутку, и Надежде Васильевне стоило большого труда успокоить ее. Эта неожиданная вспышка в первую минуту смутила Привалова, и он немного растерялся.

– Вы знаете, за что мама сегодня так рассердилась на вас? – спрашивала Надежда Васильевна, когда он уходил домой.

– За недостаток усердия к старой вере?

– Нет... за то, что вы показали себя недостаточно Приваловым. Поняли?

– Не совсем.

Надежда Васильевна ничего не ответила, а только засмеялась и посмотрела на Привалова вызывающим, говорившим взглядом. Слова девушки долго стояли в ушах Привалова, пока он их обдумывал со всех возможных сторон. Ему особенно приятно было вспомнить ту энергичную защиту, которую он так неожиданно встретил со стороны Надежды Васильевны. Она была за него: между ними, незаметно для глаз, выросло нравственное тяготение.

XV

Однажды, когда Привалов сидел у Бахаревых, зашла речь о старухе Колпаковой, которая жила в своем старом, развалившемся гнезде, недалеко от бахаревского дома.

– Вы не желаете ли проводить меня к Павле Ивановне? – предложила Надежда Васильевна Привалову; она это делала нарочно, чтобы побесить немножко мать.

– Я с удовольствием... – согласился Привалов, удивленный таким предложением; он видел, как Марья Степановна строго подобрала губы оборочкой, хотя и согласилась с своей обычной величественной манерой.

– Верочка с нами пойдет, мама, – проговорила Надежда Васильевна, надевая шляпу.

Верочка, конечно, была согласна на такую прогулку и даже покраснела от удовольствия. «Дурит девка, – думала Марья Степановна, провожая до террасы счастливое молодое трио. – Вот ужо скажу отцу-то!..» Эти сердитые размышления очень кстати были прерваны звонким поцелуем, который вlepила Верочка матери с своей обыкновенной стремительностью. Марья Степановна проводила глазами уходящих дочерей, которые были счастливы молодым счастьем. Особенно хорошо чувствовала себя Верочка. Все, что теперь делала Надя, для нее было недостижимым идеалом, целой наукой. Ведь у этой Нади все так просто и вместе так хорошо выходит, – и шляпка всегда хорошо сидит, хотя стоит всего пять рублей, и платья какими-то такими складками ложатся... Верочка не замечала, что идеализировала сестру, смотря на нее как на невесту.

– Это пять минут ходьбы отсюда, – говорила Надежда Васильевна, когда они выходили из ворот. – Из ворот сейчас налево, спустимся к реке, а потом повернем за угол, – тут и колпаковское гнездо.

Дом Колпаковой представлял собой совершенную развалину; он когда-то был выстроен в том помещицьем вкусе, как строили в доброе старое время Александра I. Фасад с колоннами и мезонином, ворота в форме триумфальной арки, великолепный подъезд, широкий двор и десятки ненужных пристроек, в числе которых были и оранжереи специально для ананасов, и конюшни на двадцать лошадей, и целый ряд каких-то корпусов, значение которых теперь трудно было угадать. Колпаков был один из самых богатых золотопромышленников; он любил развернуться во всю ширь русской природы, но скоро разорился и умер в нищете, оставив после себя нищими жену Павлу Ивановну и дочь Катю. Теперь колпаковское гнездо произвело на Привалова самое тяжелое впечатление, и он удивился, где могла помещаться Павла Ивановна с дочерью. Когда-то зеленая крыша давно проржавела, во многих местах листы совсем отстали, и из-под них, как ребра, выглядывали деревянные стропила; лепные карнизы и капители коринфских колонн давно обвалились, штукатурка отстала, резные балясины на балконе давно выпали, как гнилые зубы, стеклы в рамах второго этажа и в мезонине не было, и амбразуры окон глядели, как выколотые глаза.

– Где же помещается Павла Ивановна? – спросил Привалов, когда они подошли к покосившейся калитке; самое полотнище калитки своим свободным концом вросло в землю, и поэтому вход во двор был всегда открыт.

– А вот внизу, угловая комнатка...

Они обошли дом кругом, спустились по гнилым ступеням вниз и очутились совсем в темноте, где пахло на них гнилью и сыростью. Верочка забежала вперед и широко распахнула тяжелую дверь в низкую комнату с запыленными крошечными окошечками.

– Это мы, Павла Ивановна... можно войти? – спрашивала она, останавливаясь в дверях.

– Можно, можно... – ответил какой-то глухой женский голос, и от окна, из глубины клеенчатого кресла, поднялась низенькая старушка в круглых серебряных очках. – Ведь это ты, Верочка?

Заметив Привалова, старушка торопливо поправила на плечах вылинявшую синелевую шаль и вдруг выпрямилась, точно ее что кольнуло.

– Вы меня, вероятно, не узнаете, Павла Ивановна, – заговорил Привалов, когда Надежда Васильевна поздоровалась со старушкой. – Сергей Привалов...

– Сережа!.. – вскрикнула Павла Ивановна и всплеснула своими высохшими морщинистыми руками. – Откуда? Какими судьбами?.. А помните, как вы с Костей бегали ко мне, такими мальчугашками... Что же я... садитесь сюда.

– Вы, Павла Ивановна, пожалуйста, не хлопчите, мы пришли не как гости, а как старые знакомые, – говорила Надежда Васильевна.

– Хорошо, хорошо... – шептала старушка, украдкой осматривая Привалова с ног до головы; ее выцветшие темные глаза смотрели с безобидным, откровенным любопытством, а сухие посинелые губы шептали: – Хорошо... да, хорошо.

«Надя привела жениха показать...» – весело думала старушка, торопливо, как мышь, убегая в темную каморку, где скоро загремела крышка на самоваре.

Привалов только теперь осмотрелся в полутемной комнате, заставленной самой сборной мебелью, какую только можно себе представить. Перед диваном из красного дерева, с выцветшей бархатной обивкой, стояла конторка палисандрового дерева; над диваном висела картина с купающимися нимфами; комод, оклеенный карельской березой, точно навалился на простенок между окнами; разбитое трюмо стояло в углу на простой некрашеной сосновой табуретке; богатый туалет с отломленной ножкой, как преступник, был притянут к стене запыленными шнурками. Старинный шандал красовался на комод, а из резной рамы туалета выглядывало несколько головок деревянных амуров. Все эти обломки старой роскоши были покрыты слоем пыли, как в лавке старых вещей. Старый китайский кот вылез из-за комода, равнодушно посмотрел на гостей и, точно сконфузившись, убрался в темную каморку, где Павла Ивановна возилась с своим самоваром.

– Слава богу, слава богу, что вы приехали наконец! – улыбаясь Привалову, говорила Павла Ивановна. – Дом-то валится у вас, нужен хозяйский глаз... Да, я знаю это по себе, голубчик, знаю. У меня все вон развалилось.

«Чему она так радуется?» – думал Привалов и в то же время чувствовал, что любит эту добрую Павлу Ивановну, которую помнил как сквозь сон.

Чай прошел самым веселым образом. Старинные пузатенькие чашки, сахарница в виде барашка с обломленным рогом, высокий надутый чайник саксонского фарфора, граненый низкий стакан с плоским дном – все дышало почтенной древностью и смотрело необыкновенно добродушно. Верочка болтала, как птичка, дразнила кота и кончила тем, что подавилась сухарем. Это маленькое происшествие немного встревожило Павлу Ивановну, и она проговорила, покачивая седой головой:

– Вот уж воистину сделали вы мне праздник сегодня... Двадцать лет с плеч долой. Давно ли вот такими маленькими были, а теперь... Вот смотрю на вас и думаю: давно ли я сама была молода, а теперь... Время-то, время-то как катится!

С намерением или без намерения, Павла Ивановна увела Верочку в огород, где росла у нее какая-то необыкновенная капуста; Привалов и Надежда Васильевна остались одни. Девушка поняла невинный маневр Павлы Ивановны: старушка хотела подарить «жениху и невесте» несколько свободных минут.

– Какая жалкая эта Павла Ивановна, – проговорил Привалов.

– Зачем жалкая? Нет, это кажется только на первый раз... она живет истинным философом. Вы как-нибудь поговорите с ней поподробнее.

– Какого же сорта у нее философия?

– Да как вам сказать... У нее совсем особенный взгляд на жизнь, на счастье. Посмотрите, как она сохранилась для своих лет, а между тем сколько она пережила... И заметьте, она никогда не пользовалась ничьей помощью. Она очень горда, хотя и выглядит такой простой.

– Чем же она существует?

– Плетет кружева, вяжет чулки... А как хорошо она относится к людям! Ведь это целое богатство – сохранить до глубокой старости такое теплое чувство и стать выше обстоятельств. Всякий другой на ее месте давно бы потерял голову, озлобился, начал бы жаловаться на все и на всех. Если бы эту женщину готовили не специально для богатой, праздной жизни, она принесла бы много пользы и себе и другим.

Этот разговор был прерван появлением Павлы Ивановны и Верочки. Чай был кончен, и оставалось только идти домой. Во дворе им встретился высокий сгорбленный старик с желтыми волосами.

– Это сумасшедший... – предупредила Надежда Васильевна Привалова, который подал ей руку.

Старик, прищурившись, посмотрел на молодую компанию и, торопливо шмыгая худыми сапогами, подошел прямо к Привалову.

– Вот здесь все бумаги... – надтреснутым голосом проговорил сумасшедший, подавая Привалову целую пачку каких-то засаленных бумаг, сложенных самым тщательным образом и даже перевязанных розовой ленточкой.

– Это что у вас за бумаги? – спрашивал Привалов, рассматривая сверток.

– Тут все мое богатство... Все мои права, – с уверенной улыбкой повторил несколько раз старик, дрожавшими руками развязывая розовую ленточку. – У меня все отняли... ограбили... Но права остались, и я получу все обратно... Да. Это верно... Вы только посмотрите на бумаги... ясно, как день. Конечно, я очень давно жду, но что же делать.

В развязанной пачке оказался всякий хлам: театральные афиши, билеты от давно разыгранной лотереи, объявления разных магазинов, даже пестрые этикетки с ситцев и лекарств. Привалов внимательно рассмотрел эти «права» и, возвращая бумажки старику, проговорил:

– Да, вам еще придется подождать...

– А как вы думаете: получу я по этим документам?

На морщинистом лице старика изображалось такое напряженное внимание, что Привалову сделалось его жаль. Верочка тихонько хихикала, прячась за Павлу Ивановну.

– Наверно получите, – уверяла Надежда Васильевна сумасшедшего старика. – Вы ведь долго ждали, и теперь уж осталось немного...

– Ах, благодарю вас, благодарю, – прошептал старик и быстро поцеловал у нее руку. – Ваш муж очень умный человек... Да, я буду ждать...

Верочка не могла удержаться от душившего ее смеха и убежала немного вперед.

XVI

Известно, что провинциальная жизнь всецело зиждется на визитах. Это своего рода гамма, из которой составляют всевозможные музыкальные комбинации. Первыми приехали к Привалову Виктор Васильич и Nicolas Вереvкин. Виктор Васильич явился от имени Василия Назарыча, почему счел своим долгом затянуться в фракную пару, белый галстук, белые перчатки и шелковый модный цилиндр с короткими полями и совершенно прямой тульей. Nicolas Вереvкин, первенец Агриппины Филиппевны и местный адвокат, представлял полную противоположность Виктору Васильичу: высокий, толстый, с могучей красной шеей и громадной, как пивной котел, головой, украшенной шелковыми русыми кудрями, он, по своей фигуре, как выразился один местный остряк, походил на благочестивого разбойника. Действительно, лицо Вереvкина поражало с первого раза: эти вытаращенные серые глаза, которые смотрели, как у амфибии, немигающим застывшим взглядом, эти толстые мясистые губы, выдававшиеся скулы, узкий лоб с густыми, почти сросшимися бровями, наконец, этот совершенно особенный цвет кожи – медно-красный, отливавший жирным блеском, – все достаточно говорило за себя. Прибавьте к этому, что местный адвокат улыбался чрезвычайно редко; но его лицо делалось положительно красивым благодаря неуловимой смеси нахальства, иронии и комизма, которые резко отметили это странное лицо среди тысячи других лиц. В самых глупостях, которые говорил Nicolas Вереvкин с совершенно серьезным лицом, было что-то особенное: скажи то же самое другой, – было бы смешно и глупо, а у Nicolas Вереvкина все сходило с рук за чистую монету. Он был баловнем в мужском и женском обществе, как породистое животное, выделявшееся свежим пятном среди остальных заурядных людишек.

– Посмотрите, Сергей Александрыч, какого я вам зверя привез! – громко кричал Виктор Васильич из передней.

– Очень, очень приятно... – говорил Привалов, крепко пожимая громадную лапу старого университетского товарища.

– Полюбите нас черненькими... – отвечал Вереvкин приятным грудным баритоном, оглядывая фигуру Привалова.

Виктор Васильич сейчас же сделал самый подробный обзор квартиры Привалова и проговорил, не обращаясь, собственно, ни к кому:

– Вот так Хина!.. Отлично устроила все, право. А помнишь, Nicolas, как Ломтев в этих комнатах тогда обчистил вместе с Иваном Яковличем этих золотопромышленников?.. Ха-ха... В чем мать родила пустили сердечных. Да-с...

– Вы очень кстати приехали к нам в Узел, – говорил Вереvкин, тяжело опускаясь в одно из кресел, которое только не застонало под этим восьмипудовым бременем. Он несколько раз обвел глазами комнату, что-то отыскивая, и потом прибавил: – У меня сегодня ужасная жажда...

– В самом деле, и у меня главизна зело трещит после вчерашнего похмелья, – прибавил с своей стороны Виктор Васильич. – Nicolas, ты очищенную? А мне по части хересов. Да постойте, Привалов, я сам лучше распорядюсь! Ей-богу!

Виктор Васильич мгновенно исчез на половину Хионии Алексеевны и вернулся оттуда в сопровождении Ипата, который был нагружен бутылками и тарелочками с закуской; Хиония Алексеевна давно предупредила Виктора Васильича, и все уже было готово, когда он заявился к ней с требованием водки и хересов.

– Да скажи барыне, – кричал Бахарев вдогонку уходившему лакею, – скажи, что гости останутся обедать... Понимаешь?

– Чревоугодие и натура одолевают, – объявил Вереvкин, выпивая рюмку водки с приемами записного пьяницы.

Привалов через несколько минут имел удовольствие узнать последние новости и был посвящен почти во все городские тайны. Виктор Васильич болтал без умолку, хотя после пятой рюмки хереса язык у него начал заметно прилипать. Он был с Приваловым уже на «ты».

– А я тебя, Привалов, полюбил с первого раза... Ей-богу! – болтал Бахарев, блестя глазами. – Мне черт с ними, с твоими миллионами: не с деньгами жить, а с добрыми людьми... Ха-ха! Я сам давно бы был миллионером, если бы только захотел. Воображаю, как бы все начали тогда ухаживать за мной... Ха-ха!.. «Виктор Васильич! Виктор Васильич...» Я бы показал им, что плевать на них всех хочу... Да-с. А вот мы тебя познакомим с такими дамочками – пальчики оближешь! Ты кого больше любишь: девиц или дам? Я предпочитаю вдовушек... С девицами только время даром терять... Ах! Да вот у Nicolas есть сестренка Алла, – с секретом барышня. А вот поедешь к Ляховскому, так там тебе покажут такую барышню, что отдай все, да мало, прибавь – неостанет... Это, брат, сама красота, огонь, грация и плутовство.

– Зося действительно пикантная девчонка, – согласился Веревкин, смакуя кусок балыка.

– Она меня однажды чуть не расцеловала, – объявил Бахарев.

– Ну, уж это ты врешь, – заметил Веревкин. – Выгонять – она тебя действительно выгоняла, а чтобы целовать тебя... Это нужно совсем без головы быть!

– Ах! Да ты послушай, как это было... Зося любит все смешное, я однажды и показал ей, как собаки мух ловят. Меня один ташкентский офицер научил... Видел, как собака лежит-лежит на солнышке и задремлет (Бахарев изобразил, как дремлет на солнце собака)... Потом пролетит муха: «жжж...» Собака откроет сначала один глаз, потом другой, прищурится немного и этак, понимаете, вдруг «гхам!..». (Бахарев действительно с замечательным искусством передал эту сцену.) Как я показал Зосе эту штуку, – она меня и давай просить, чтобы я ее тоже научил... Ведь научилась, – лучше меня теперь ловит мух! Ты как-нибудь попроси ее, она покажет... Вот она тогда меня чуть-чуть и не расцеловала.

– Вероятно, приняла за настоящую собаку!

– Эк тебя взяло с твоим остроумием... – ворчал Бахарев. – Э, да чего мне тут с вами киснуть, я к Хине лучше пойду...

Легонько пошатываясь и улыбаясь рассеянной улыбкой захмелевшего человека, Бахарев вышел из комнаты. До ушей Привалова донеслись только последние слова его разговора с самим собой: «А Привалова я полюбил... Ей-богу, полюбил! У него в лице есть такое... Ах, черт побери!..» Привалов и Веревкин остались одни. Привалов задумчиво курил сигару, Веревкин отпивал из стакана портер большими аппетитными глотками.

– Вы что же, – совсем к нам? – спрашивал Веревкин.

– Да, думаю остаться здесь.

Веревкин что-то промычал и медленно отхлебнул из своего стакана; взглянув в упор на Привалова, он спросил:

– Вы были у Бахарева?

– Да.

– Гм... Видите ли, Сергей Александрыч, я приехал к вам, собственно, по делу, – начал Веревкин, не спуская глаз с Привалова. – Но прежде позвольте один вопрос... У вас не заходила речь обо мне, то есть старик Бахарев ничего вам не говорил о моей особе?

– Нет, ничего не говорил, – ответил Привалов, не понимая, к чему клонились эти вопросы.

– Гм... – промычал Веревкин и нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. – Дело вот в чем, Сергей Александрыч... Я буду говорить с вами как старый университетский товарищ. Гм... Одним словом, вы, вероятно, уже заметили, что я порядочно опустил...

Привалов только съезил плечи при таком откровенном признании и пробормотал что-то отрицательное.

– Нет, зачем же! – так же бесстрастно продолжал Веревкин. – Видна птица по полету... Сильно опустил, – при последних словах Веревкин несколько раз потряхнул своей громадной головой, точно желая от чего-то освободиться. – И другие видят, и сам вижу. Шила в мешке не утаишь. Я адвокатом лет восемь. Годовой бюджет десять-двенадцать тысяч; кругом в долгу... Есть кой-какая репутация по части обдѣлывания делишек. Об этом еще успеете наслушаться; но я говорю вам все это в тех видах, чтобы не обманывать на свой счет. Немного свихнулся, одним словом... Стороной я слышал о вашем деле по наследству, так вот и приехал предложить свои услуги. С своей стороны могу сказать только то, что я с удовольствием поработал бы именно для такого запутанного дела... Вам ведь необходим поверенный?

– Да... Отчего же, я согласен, – отвечал Привалов, – очень рад.

– Нет, для вас радость не велика, а вот вы сначала посоветуйтесь с Константином Васильичем, – что он скажет вам, а я подожду. Дело очень важное, и вы не знаете меня. А пока я познакомлю вас, с кем нам придется иметь дело... Один из ваших опекунов, именно Половодов, приходится мне beau fr~~#####~~re'ом,¹¹ но это пустяки... Мы подтянем и его. Знаете русскую поговорку: хлебом вместе, а табачком врозь.

Этот разговор был прерван появлением Бахарева, который был всунут в двери чьими-то невидимыми руками. Бахарев совсем осовелыми глазами посмотрел на Привалова, покрутил головой и заплетавшимся языком проговорил:

– Черт возьми... из самых недр пансиона вынырнул... то есть был извлечен оттуда... А там славная штучка у Хины запрятана... Глаза – масло с икрой... а кулаки у этого неземного создания!.. Я только хотел заняться географией, а она меня как хватит кулаком...

Привалов и Веревкин засмеялись, а Бахарев, пошатываясь и крутя головой, доплелся до оттомана, на котором и растянулся. Сделав героическое усилие удержаться на локтях, он проговорил:

– Послу-ушай, Привалов... я тебя люблю... а ты не знаешь ничего... не-ет...

– Сергей Александрыч знает только то, что тебе нужно хорошенько выспаться, – заметил Веревкин.

– Не-ет... Вы думаете, что я дурак... пьян... Послушай, Привалов, я... тебе вот что скажу...

Бахарев сел и рассеянно посмотрел кругом.

– Мама тебя очень... любит, – продолжал он, раскачивая ногами. – Ведь мама отличная старуха... дда-а... У нее в мизинце больше ума, чем у Веревкина... в голове!.. Да-а... Хе-е... А только мама теперь боится, знаешь чего... Гм... дда... Она боится, что ты женишься на Зосе... Ей-богу!.. А Надя отличная девушка... Ей-богу... Она мне сестра, а я всегда скажу: отличная, умная... Если бы Надя не была мне сестра... ни за какие бы коврижки не уступил тебе... Как ушей своих не увидел бы... дда... Ты непременно женись на ней... слышишь? После спасибо скажешь... А мама боится Зоси, чтобы не отбила жениха... Ха-ха!.. Зося меня чуть не расцеловала, когда я ее научил мух ловить.

– Ну, довольно, спи, – говорил Веревкин, укладывая заболтавшегося молодого человека.

Привалов вдруг покраснел. Слова пьяного Бахарева самым неприятным образом подействовали на него, – не потому, что выставляли в известном свете Марью Степановну, а потому, что имя дорогой ему девушки повторялось именно при Веревкине. Тот мог подумать черт знает что...

– Виктор отличный парень, только уж как попало ему в голову – и понес всякую чепуху, – говорил Веревкин, делая вид, что не замечает смущения Привалова. – Врет, как пьяная баба... Самая гнилая натурашка!.. Впрочем, Виктор говорит только то, что теперь говорит целый город, – прибавил Веревкин. – Как тертый калач могу вам дать один золотой совет: никогда

¹¹ зятем (фр.).

не обращайтесь внимания на то, что говорят здесь про людей за спиной. Это язва провинции, особенно нашей. Оно и понятно: мы, мужчины, можем хоть в карты резаться, а дамам что остается? Впрочем, я это только к слову... дамы не по моей части.

Бахарев громко храпел, раскинувшись на оттомане. У Привалова немного отлегло на сердце, и он с благодарностью посмотрел на своего собеседника, проговорив:

– Что касается меня, то мне решительно все равно, что ни болтали бы, но ведь здесь является имя девушки; наконец, сама Марья Степановна может показаться в таком свете...

– Э, батенька, плюньте... Мы вот лучше о деле побалагурим. Виктор, спишь? Спит...

В нескольких словах Веревкин дал заметить Привалову, что знает дело о наследстве в мельчайших подробностях, и намекнул между прочим на то, что исчезновение Тита Привалова тесно связано с какой-то очень смелой идеей, которую хотят провести опекуны.

– Именно? – спросил Привалов.

– Собственно, определенных данных я в руках не имею, – отвечал уклончиво Веревкин, – но у меня есть некоторая нить... Видите ли, настоящая каша заваривается еще только теперь, а все, что было раньше, – только цветочки.

– Помилуйте, Николай Иванович, что же еще-то может быть?

– Об этом мы еще поговорим после, Сергей Александрыч, а теперь я должен вас оставить... У меня дело в суде, – проговорил Веревкин, вынимая золотые часы. – Через час я должен сказать речь в защиту одного субъекта, который убил троих. Извините, как-нибудь в другой раз... Да вот что: как-нибудь на днях загляните в мою конуру, там и покалякаем. Эй, Виктор, вставай, братику!

– Оставьте его, пусть спит, – говорил Привалов. – Он мне не мешает.

– А вы с ним не церемоньтесь... Так я буду ждать вас, Сергей Александрыч, попросту, без чинов. О моем предложении подумайте, а потом поговорим всерьез.

Предложение Веревкина и слова пьяного Виктора Васильича заставили Привалова задуматься. Что такое мог подозревать этот Веревкин в деле о наследстве? Но ведь даром он не стал бы болтать. Подозревать, что своим намеком Веревкин хотел прибавить себе весу, – этого Привалов не мог по многим причинам: раз – он хорошо относился к Веревкину по университетским воспоминаниям, затем Веревкин был настолько умен, что не допустит такого грубого подхода; наконец, из слов Веревкина, которыми он рекомендовал себя, можно вывести только то, что он сразу хотел поставить себя начистоту, без всяких недомолвок. Только одно в разговоре с Веревкиным не понравилось Привалову, именно то, что Веревкин вскользь как будто желал намекнуть на зависимость Привалова от Константина Васильича.

«Что он этим хотел сказать? – думал Привалов, шагая по своему кабинету и искоса поглядывая на храпевшего Виктора Васильича. – Константин Васильич может иметь свое мнение, как я свое... Нет, я уж, кажется, немного того...»

В глубине души Привалова оставалась еще капелька горечи, вызванная словами Виктора Васильича. Ведь он выдал себя с головой Веревкину, хотя тот и делал вид, что ничего не замечает «И черт же его потянул за язык...» – думал Привалов, сердито поглядывая в сторону храпевшего гостя. Виктор Васильич спал в самой непринужденной позе: лежа на спине, он широко раскинул руки и свесил одну ногу на пол; его молодое лицо дышало завидным здоровьем, и по лицу блуждала счастливая улыбка. Ведь в этом лице было что-то общее с выражением лица Надежды Васильевны. Привалов остановился над спавшим гостем. Такой же белый, немного выпуклый лоб, те же брови, тот же разрез глаз и такие же темные длинные ресницы... Но там все это было проникнуто таким чудным выражением женской мягкости, все линии дышали такой чистотой, – казалось, вся душа выливалась в этом прямом взгляде темно-серых глаз. Зачем же имя этой девушки было произнесено этим Виктором Васильичем с такими безжалостными пояснениями и собственными комментариями? Надежда Васильевна с первого раза произвела сильное впечатление на Привалова, как мы уже видели. Если бы он стал подроб-

нее анализировать свое чувство, он легко мог прийти к тому выводу, что впечатление носило довольно сложное происхождение: он смотрел на девушку глазами своего детства, за ее именем стояло обаяние происхождения... Ведь она была дочь Василия Назарыча; ведь в ней говорила кровь Марьи Степановны; ведь... Привалов не мог в своем воображении отделить девушку от той обстановки, в какой он ее видел. Этот старинный дом, эти уютные комнаты, эта старинная мебель, цветы, лица прислуги, самый воздух – все это было слишком дорого для него, и именно в этой раме Надежда Васильевна являлась не просто как всякая другая девушка, а последним словом слишком длинной и слишком красноречивой истории, в которую было вплетено столько событий и столько дорогих имен.

Вместе с тем Привалов как-то избегал мысли, что Надежда Васильевна могла быть его женой. Нет, зачем же так скоро... Жена – совсем другое дело; он хотел ее видеть такую, какою она была. Жена – слишком грубое слово для выражения того, что он хотел видеть в Надежде Васильевне. Он поклонялся в ней тому, что было самого лучшего в женщине. Если бы она была женой другого, он так же относился бы к ней, как относился теперь. Странное дело, это девичье имя осветило каким-то совершенно новым светом все его заветные мечты и самые дорогие планы. Раньше все это было сухой мозговой выкладкой, а теперь... Нет, одно существование на свете Надежды Васильевны придало всем его планам совершенно особенный смысл и ту именно теплоту, какой им не доставало. Обдумывая их здесь, в Узле, он находил в них много нового, чего раньше не замечал совсем. Раньше он иногда сомневался в их осуществимости, иногда какое-то нехорошее чувство закрадывалось в душу, но теперь ему стоило только вызвать в своем воображении дорогие черты, и все делалось необыкновенно ясно, всякие сомнения падали сами собой. Каждый раз он испытывал то счастливое настроение, когда человеком овладевает какой-то прилив сил.

XVII

– Барин-то едет! – сиплым шепотом докладывала Матрешка Хионии Алексеевне. – Своими глазами, барыня, видела... Сейчас пальто в передней надевает...

Заплата прильнула к окну; у ней даже сердце усиленно забилося в высохшей груди: куда поедет Привалов? Если направо, по Нагорной – значит, к Ляховскому, если прямо, по Успенскому бульвару – к Половодову. Вон Ипат и извозчика свистнул, вон и Привалов вышел, что-то подумал про себя, посмотрел направо и сказал извозчику:

– В Нагорную... налево.

От последнего слова в груди Хионии Алексеевны точно что оборвалось. Она даже задрожала. Теперь все пропало, все кончено; Привалов поехал делать предложение Nadine Бахаревой. Вот тебе и жених...

Привалов, пока Заплата успела немного прийти в себя, уже проходил на половину Марьи Степановны. По дороге мелькнуло улыбнувшееся лицо Даши, а затем показалась Верочка. Она была в простеньком ситцевом платье и сильно смутилась.

– Марью Степановну можно видеть? – спросил Привалов, раскланиваясь с ней.

– Она в моленной...

«Какая славная эта Верочка...» – подумал Привалов, любуясь ее смущением; он даже пожалел, что как-то совсем не обращал внимания на Верочку все время и хотел теперь вознаградить свое невнимание к ней.

– Я сейчас отправлюсь к Ляховскому и заехал поговорить с Марьей Степановной... – объяснил он.

Верочка вся вспыхнула, взглянула на Привалова как-то исподлобья, совсем по-детски, и тихо ответила:

– Надя часто бывала раньше у Ляховских...

– А вы?

– Мне мама не позволяет ездить к ним; у Ляховских всегда собирается большое общество; много мужчин... Да вон и мама.

– Наконец-то ты собрался, – весело проговорила Марья Степановна, появляясь в дверях. – Вижу, вижу; ну, что же, бог тебя благословит...

– Нарочно заехал к вам, Марья Степановна, чтобы набраться смелости.

– А ты к Василию Назарычу заходил? Зайди, а то еще, пожалуй, рассердится. Он и то как-то поминал, что тебя давно не видно... Никак с неделю уж не был.

– Боюсь надоест.

– Ну, ну, не говори пустого. Все неможется Василию Назарычу, привязала его эта нога.

Они поговорили еще с четверть часа, но Привалов не уходил, поджидая, не послышится ли в соседней комнате знакомый шорох женского платья. Он даже оглянулся раза два, что не ускользнуло от внимания Марьи Степановны, хотя она и сделала вид, что ничего не замечает. Привалова просто мучило желание непременно увидеть Надежду Васильевну. Раза два как-то случилось, что она не выходила к нему, но сегодня он испытывал какое-то ноющее, тоскливое чувство ожидания; ему было неприятно, что она не хочет показаться. После пьяной болтовни Виктора Васильича в душе Привалова выросла какая-то щемящая потребность видеть ее, слышать звук ее голоса, почувствовать ее присутствие. Он нарочно откладывал свой визит к Бахаревым день за день, и вот награда... Марья Степановна точно не желала замечать настроения своего гостя и говорила о самых невинных пустяках, не обращая внимания на то, что Привалов отвечал ей совсем невпопад. Верочка раза два входила в комнату, поглядывая искоса на гостя, и делала такую мину, точно удивлялась, что он продолжает еще сидеть.

– А ведь Надя-то уехала, – проговорила Марья Степановна, когда Привалов начал прощаться.

– На заводы уехала, к Косте, – прибавила она, когда Привалов каким-то глупым, остановившимся взглядом посмотрел на нее. – Доктора Сараева знаешь?

– Да, помню немного...

– Ну, вот с ним и уехала.

«Уехала, уехала, уехала...» – как молотками застучало в мозгу Привалова, и он плохо помнил, как простился с Марьей Степановной, и точно в каком тумане прошел в переднюю, только здесь он вспомнил, что нужно еще зайти к Василию Назарычу.

Бахарев сегодня был в самом хорошем расположении духа и встретил Привалова с веселым лицом. Даже болезнь, которая привязала его на целый месяц в кабинете, казалась ему забавной, и он называл ее собачьей старостью. Привалов вздохнул свободнее, и у него тоже гора свалилась с плеч. Недавнее тяжелое чувство разлетелось дымом, и он весело смеялся вместе с Василием Назарычем, который рассказал несколько смешных историй из своей тревожной, полной приключений жизни.

– А что, Сергей Александрыч, – проговорил Бахарев, хлопая Привалова по плечу, – вот ты теперь третью неделю живешь в Узле, поосмотрелся? Интересно знать, что ты надумал... а? Ведь твое дело молодое, не то что наше, стариковское: на все четыре стороны скатертью дорога. Ведь не сидеть же такому молодцу сложа руки...

Привалов не ожидал такого вопроса и замаялся, но Бахарев продолжал:

– Знаю, вперед знаю ответ: «Нужно подумать... не осмотрелся хорошенько...» Так ведь? Этакие нынче осторожные люди пошли; не то что мы: либо сена клок, либо вилы в бок! Да ведь ничего, живы и с голоду не умерли. Так-то, Сергей Александрыч... А я вот что скажу: прожил ты в Узле три недели и еще проживешь десять лет – нового ничего не увидишь. Одна канитель: день да ночь – и сутки прочь, а вновь ничего. Ведь ты совсем в Узле останешься?

– Да.

– И отлично; значит, к заводскому делу хочешь приучать себя? Что же, хозяйский глаз да в таком деле – первое всего.

– Нет... Ведь заводы, Василий Назарыч, еще неизвестно кому достанутся. Об этом говорить рано...

– Конечно, конечно... В копнах не сено, в долгах не деньги. Но мне все-таки хочется знать твое мнение о заводах, Сергей Александрыч.

– Вы хотите этого непременно? – спросил Привалов, глядя в глаза старику.

– Да, непременно...

После короткой паузы Привалов очень подробно объяснил Бахареву, что он не любит заводского дела и считает его искусственно созданной отраслью промышленности. Но отказаться от заводов он не желает и не может – раз, потому, что это родовое имущество, и, во-вторых, что с судьбой заводов связаны судьбы сорокатысячного населения и будущность трехсот тысяч десятин земли на Урале. В заключение Привалов заметил, что ни в каком случае не рассчитывает на доходы с заводов, а будет из этих доходов уплачивать долг и понемногу, постепенно поднимать производительность заводов. Бахарев слушал это откровенное признание, склонив немного голову набок. Когда Привалов кончил, он безмолвно притянул его к себе, обнял и поцеловал. На глазах старика стояли слезы, но он не отирал их и, глубоко вздохнув, проговорил прерывавшимся от волнения голосом:

– Спасибо, Сережа... Умру спокойно теперь... да, голубчик. Утешил ты меня... Спасибо, спасибо...

– Я делаю только то, что должен, – заметил Привалов, растроганный этой сценой. – В качестве наследника я обязан не только выплатить лежащий на заводах государственный долг, но еще гораздо больший долг...

- Еще какой долг?
- А как же, Василий Назарыч... Ведь заводы устроены чьим трудом, по-вашему?
- Как чьим? Заводы устраивал твой пращур, Тит Привалов, – его труд был, потом Гуляев устраивал их, – значит, гуляевский труд.
- Да, это верно, но владельцы сторицей получили за свои хлопоты, а вы забываете башкир, на земле которых построены заводы. Забываете приписных к заводам крестьян.¹²
- Да ведь башкиры продали землю...
- За два с полтиной на ассигнации и за три фунта кирпичного чаю.
- А хоть бы и так... Это их дело и нас не касается.
- Нет, очень касается, Василий Назарыч. Как назвать такую покупку, если бы она была сделана нынче! Я не хочу этим набрасывать тень на Тита Привалова, но...
- Что же, ты, значит, хочешь возратить землю башкирам? Да ведь они ее все равно продали бы другому, если бы пращур-то не взял... Ты об этом подумал? А теперь только отдай им землю, так завтра же ее не будет... Нет, Сергей Александрыч, ты этого никогда не сделаешь...
- Я и не думаю отдавать землю башкирам, Василий Назарыч; пусть пока она числится за мной, а с башкирами можно рассчитаться и другим путем...
- Не понимаю что-то...
- Если бы я отдал землю башкирам, тогда чем бы заплатил мастерам, которые работали на заводах полтора-два года?.. Земля башкирская, а заводы созданы крепостным трудом. Чтобы не обидеть тех и других, я должен отлично поставить заводы и тогда постепенно расплачиваться с своими историческими кредиторами. В какой форме устроится все это – я еще теперь не могу вам сказать, но только скажу одно, – именно, что ни одной копейки не возьму лично себе...
- Ах, Сережа, Сережа... – шептал Бахарев, качая головой. – Хорошая у тебя душа-то... золотая... Хорошая ведь в тебе кровь-то. Это она сказывается. Только... мудреное ты дело затеваешь, небывалое... Вот я – скоро и помирать пора, а не пойму хорошенько...
- Мы еще поговорим об этом, Василий Назарыч.
- Да, да, поговорим... А ежели ты действительно так хочешь сделать, как говоришь, много греха снимешь с отцов-то. Значит, заводы пойдут сами собой, а сам-то ты что для себя будешь делать? Эх, Сергей Александрыч, Сергей Александрыч. Гляжу я на тебя и думаю: здоров, молод, – скатертью дорога на все четыре стороны... Да. Не то что наше, стариковское, дело: только еще хочешь повернуться, а смерть за плечами. Живи не живи, а помирать приходится... Эх, я бы на твоём месте махнул по отцовской дорожке!.. Закатился бы на Саян... Ведь нынче свобода на приисках, а я бы тебе указал целый десяток золотых местечек. Стал бы поминать старика добром... Костя не захотел меня слушать, так доставайся хоть тебе!
- Привалов улыбнулся.
- Я тебе серьезно говорю, Сергей Александрыч. Чего киснуть в Узле-то? По рукам, что ли? Костя на заводах будет управляться, а мы с тобой на прииски; вот только моя нога немного поправится...
- Нет, Василий Назарыч, я никогда не буду золотопромышленником, – твердым голосом проговорил Привалов. – Извините меня, я не хотел вас обидеть этим, Василий Назарыч, но если я по обязанности должен удерживать за собой заводы, то относительно приисков у меня такой обязанности нет.
- Бахарев какими-то мутными глазами посмотрел на Привалова, пощупал свой лоб и улыбнулся нехорошей улыбкой.
- Что же ты думаешь делать здесь? – спросил Василий Назарыч упавшим сухим голосом.

¹² Имеются в виду крестьяне, жившие во время крепостного права на государственных землях и прикрепленные царским правительством к заводам и фабрикам в качестве рабочей силы.

– Я думаю заняться хлебной торговлей, Василий Назарыч.

Старик тяжело повернулся в своем кресле и каким-то испуганным взглядом посмотрел на своего собеседника.

– Я, кажется, ослышался... – пробормотал он, вопросительно и со страхом заглядывая Привалову в лицо.

– Нет, вы не ослышались, Василий Назарыч. Я серьезно думаю заняться хлебной торговлей...

– Ты... будешь торговать... *мукой*?

– Между прочим, вероятно, буду торговать и мукой, – с улыбкой отвечал Привалов, чувствуя, что пол точно уходит у него из-под ног. – Мне хотелось бы объяснить вам, почему я именно думаю заняться этим, а не чем-нибудь другим.

Бахарев потер опять свой лоб и торопливо проговорил:

– Нет... не нужно!.. Я понимаю все, если способен только понимать что-нибудь...

Откинувшись на спинку кресла и закрыв лицо руками, старик в каком-то забытии повторил:

– Торговать мукой... *Му-кой!*.. Привалов будет торговать *мукой*... *Василий Бахарев* купит у *Сергея Привалова* мешок *муки*...

Часть вторая

I

Неопределенное положение дел оставляло в руках Хионии Алексеевны слишком много свободного времени, которое теперь все целиком и посвящалось Агриппине Филиппьевне, этому неизменному старому другу. В роскошном будуаре Веревкиной, а чаще в ее не менее роскошной спальне теперь происходили самые оживленные разговоры, делались удивительно смелые предположения и выстраивались поистине грандиозные планы. Эти две дамы теперь находились в положении тех опытных полководцев, которые накануне битвы делают ряд самых секретных совещаний. Они спорили, горячились, даже выходили из себя, но всегда мирились на одной мысли, что все мужчины положительнейшие дураки, которые, как все неизлечимо поврежденные, были глубоко убеждены в своем уме.

– Ах, если бы вы только видели, Агриппина Филиппьевна! – закатывая глаза, шептала Хиония Алексеевна. – Ведь всему же на свете бывают границы... Мне просто гадко смотреть на все, что делается у Бахаревых! Эта Nadine с первого раза вешается на шею Привалову... А старики? Вы бы только посмотрели, как они ухаживают за Приваловым... Куда вся гордость девалась! Василий Назарыч готов для женишка в мелочную лавочку за папиросами бегать. Ей-богу!.. А какие мне Марья Степановна грязные предложения делала... Да разве я соглашусь присматривать да подслушивать за жильцом?!

– Однако вы не ошиблись, кажется, что взяли его на квартиру, – многозначительно говорила Агриппина Филиппьевна. – Не ошиблась?! А вы спросите меня, Агриппина Филиппьевна, чего это стоит! Да... Я сначала долго отказывалась, но эта Марья Степановна так пристала ко мне, так пристала, понимаете, с ножом к горлу: «Пожалуйста, Хиония Алексеевна! Душечка, Хиония Алексеевна... Мы будем уж спокойны, если Привалов будет жить у вас». Ведь знаете мой проклятый характер: никак не могла отказать. Теперь и надела себе петлю на шею... Расходы, хлопоты, беспокойство, а там еще что будет?..

– Так вы говорите, что Привалов не будет пользоваться вниманием женщин? – задумчиво спрашивала Агриппина Филиппьевна уже во второй раз.

– Решительно не будет, потому что в нем этого... как вам сказать... между нами говоря... нет именно той смелости, которая нравится женщинам. Ведь в известных отношениях все зависит от умения схватить удобный момент, воспользоваться минутой, а у Привалова... Я сомневаюсь, чтобы он имел успех...

– У Привалова есть миллионы, – продолжала Агриппина Филиппьевна мысль приятельницы.

– Только и есть что одни миллионы...

– Кажется, достаточно.

– Да... Но ведь миллионами не заставишь женщину любить себя... Порыв, страсть – да разве это покупается на деньги? Конечно, все эти Бахаревы и Ляховские будут ухаживать за Приваловым: и Nadine и Sophie, но... Я, право, не знаю, что находят мужчины в этой вертлявой Зосе?.. Ну, скажите мне, ради бога, что в ней такого: маленькая, сухая, вертлявая, бело-брысая... Удивляюсь!

Агриппина Филиппьевна была несколько другого мнения относительно Зоси Ляховской, хотя и находила ее слишком эксцентричной. Известная степень оригинальности, конечно, идет к женщине и делает ее заманчивой в глазах мужчин, хотя это слишком скользкий путь, на котором нетрудно дойти до смешного.

Несмотря на свои сорок восемь лет, Агриппина Филиппьевна была еще очень моложава, прилично полна и обладала самыми аристократическими манерами. В ее наружности было что-то очень внушительное, особенно когда она улыбалась своей покровительственной улыбкой. Светло-русые волосы, неопределенного цвета глаза и свежие полные губы делали ее еще настолько красивой, что никто даже не подумал бы смотреть на нее, как на мать целой дюжины детей. Еще меньше можно было, глядя на эту цветущую мать семейства, заключить о тех превратностях, какими была преисполнена вся ее тревожная жизнь.

Когда-то очень давно Агриппина Филиппьевна и Хиония Алексеевна воспитывались в одном московском пансионе, где требовался, во-первых, французский язык, во-вторых, французский язык и, в-третьих, французский язык. Из обруселых рижских немок по происхождению, Агриппина Филиппьевна обладала счастливым ровным характером: кажется, это было единственное наследство, полученное ею под родительской кровлей, где оставались еще шесть сестриц и один братец. В пансионе Агриппина Филиппьевна и Хиония Алексеевна, выражаясь на пансионском жаргоне, обожали одна другую. Мы уже знаем историю Хионии Алексеевны. Агриппина Филиппьевна прямо из пансионского дортуара вышла замуж за Ивана Яковлевича Веревкина, который, благодаря отчасти своему дворянскому происхождению, отчасти протекции, подходил под рубрику молодых людей, «подающих блестящие надежды». Но Иван Яковлич так и остался при блестящих надеждах, не сделав никакой карьеры, хотя менял род службы раз десять, Агриппина Филиппьевна дарила мужа исправно через каждый год то девочкой, то мальчиком. Таким образом получилась в результате прескверная история: семья росла и увеличивалась, а одними надеждами Ивана Яковлича и французским языком Агриппины Филиппьевны не проживешь. Один счастливый случай выручил не только Агриппину, но и весь букет рижских сестриц. Дело в том, что одной из этих сестриц выпало редкое счастье сделаться женой одной дряхлой, но очень важной особы. Как только совершилось это знаменательное событие, то есть как только Гертруда Шпигель сделалась *madame* Коробьин-Унковской, тотчас же все рижские сестрицы с необыкновенной быстротой пошли в ход, то есть были выданы замуж за разную чиновную мелюзгу. Как раз в это время в Узле открывалось отделение государственного банка, и мужья двух сестриц сразу получили места директоров. Эти сестрицы выписали из Риги остальных четырех, из которых одна вышла за директора гимназии, другая за доктора, третья за механика, а четвертая, не пожелавшая за преклонными годами связывать себя узами Гименея, получила место начальницы узловской женской гимназии. Одним словом, в самом непродолжительном времени сестрицы Шпигель завоевали целый город и начали усиленно плодиться.

Иван Яковлич тоже попал на какое-то место в банк, без определенного названия, зато с солидным окладом. Но и родство с важной особой не помогло осуществлению подаваемых им блестящих надежд. Попав в Узел, он бросил скоро всякую службу и бойко пошел по широкой дорожке карточного игрока. Этот почтенный отец семейства совсем не вмешивался в свои фамильные дела, великодушно предоставив их собственному течению. Дома он почти не жил, потому что вел самую цыганскую жизнь, посещая ярмарки, клубы, игорные притоны и тому подобные злачные места. Впрочем, в трудные минуты своей жизни, в случае крупного проигрыша или какого-нибудь скандала, Иван Яковлич на короткое время являлся у своего семейного очага и довольно терпеливо разыгрывал скромного семьянина и почтенного отца семейства. Он в этих случаях был необыкновенно внимателен к жене, ласкал детей и, улучив удобную минуту, опять исчезал в свою родную стихию. Спрашивается, откуда получались те десять тысяч, которые тратила Агриппина Филиппьевна ежегодно? Это был настолько щекотливый и тонкий вопрос, что его обыкновенно обходили молчанием или говорили просто, что Агриппина Филиппьевна «живет долгами», то есть что она была так много должна, что кредиторы, под опасением не получить ничего, поддерживали ее существование. Но и этот, несо-

мненно, очень ловкий *modus vivendi*¹³ мог иметь свой естественный и скорый конец, если бы Агриппина Филиппьевна, с одной стороны, не выдала своей старшей дочери за директора узловско-моховского банка Половодова, а с другой – если бы ее первенец как раз к этому времени не сделался одним из лучших адвокатов в Узле. Эти два обстоятельства значительно повысили фонды Агриппины Филиппьевны, и она могла со спокойной совестью устраивать по четвергам свои элегантные *soirees*,¹⁴ на которых безусловно господствовал французский язык, обсуждалась каждая выдающаяся новость и испытывали свои силы всякие заезжие артисты и артистки.

Итак, несмотря на то, что жизнь Агриппины Филиппьевны была открыта всем четырем ветрам, бурям и непогодам, она произвела на свет целую дюжину маленьких ртов. Эта живая лестница, начинавшаяся с известного уже нам *Nicolas*, постепенно переходила через разных *Andre*, *Woldemar*, *Nini* и *Bebe*, пока не обрывалась шестимесячным Вадимом. Дети помещались в каком-то коридоре, перегородженном тонкими ширмочками на несколько отдельных помещений. Эта дворянская поросль имела решительный перевес в мужской линии. Два старших мальчика учились в классической гимназии, один – в военном, один – в реальном училище и т. д. В недалеком будущем муравейник Агриппины Филиппьевны грозил осчастливить благодарное отечество неутомимыми деятелями на самых разнообразных поприщах. Мы уже сказали, что старшая дочь Агриппины Филиппьевны была замужем за Половодовым; следующая за нею по летам, Алла, вступила уже в тот цветущий возраст, когда ей неприлично было оставаться в недрах муравейника, и она была переведена в спальню тамаг, где и жила на правах совсем взрослой барышни. Понятно, что Алла не могла относиться к обитателям муравейника иначе, как только с глубоким презрением. Когда ей случалось проходить по территории муравейника, она целомудренно подбирала свои безукоризненно накрахмаленные юбки и даже зажимала нос.

Nicolas Веревкин получил первые впечатления своего бытия тоже не в завидной обстановке. Но это не помешало ему быть некоторым исключением, даже домашним божком, потому что Агриппина Филиппьевна чувствовала непреодолимую слабость к своему первенцу и создала около него что-то вроде культа. Все, что ни делал *Nicolas*, было верхом совершенства; самая возможность критики отрицалась. Когда *Nicolas* выбросили из гимназии за крупный скандал, Агриппина Филиппьевна и тогда не сказала ему в упрек ни одного слова, а собрала последние крохи и на них отправила своего любимца в Петербург. *Nicolas* вполне оправдал то доверие, каким пользовался. Он быстро освоился в столице, сдал экзамены за гимназию и взял в университете кандидата прав. Воспоминанием об этом счастливом времени служили Агриппине Филиппьевне письма *Nicolas*, не отличавшиеся особенной полнотой, но неизменно остроумные и всегда беззаботные. Между прочим, у Агриппины Филиппьевны хранилось вырезанное из газет объявление, в котором студент, «не стесняющийся расстоянием», предлагал свои услуги по части воспитания юношества. Эти *beaux mots*¹⁵ несравненного *Nicolas* заставляли смеяться счастливую мамашу до слез. Нестеснение расстоянием проходило красной нитью через всю жизнь *Nicolas*, особенно через его адвокатскую деятельность. Агриппина Филиппьевна никогда и ничего не требовала от своего божка, кроме того, чтобы этот божок непременно жил под одной с ней кровлей, под ее крылышком.

После *Nicolas* самой близкой к сердцу Агриппины Филиппьевны была, конечно, Алла. Она не была красавицей; лицо у ней было совсем неправильно; но в этой еще формировавшейся, с детскими угловатыми движениями девушке Агриппина Филиппьевна чувствовала что-то обещающее и очень оригинальное. Алла уже выработала в себе тот светский такт, который начинается с умения вовремя выйти из комнаты и заканчивается такими сложными комбина-

¹³ образ жизни (*фр.*).

¹⁴ вечера (*фр.*).

¹⁵ остроты (*фр.*).

циями, которых не распутать никакому мудрецу. Хиония Алексеевна, конечно, тоже восхищалась Аллой и не упускала случая проговорить:

Elle est tellement innocente
Qu'elle ne connait presque rien...¹⁶

– Скажите, пожалуйста, что делает ваш братец? – несколько раз спрашивала Хиония Алексеевна.

– Оскар? О, это безнадежно глупый человек и больше ничего, – отвечала Агриппина Филиппьевна. – Представьте себе только: человек из Петербурга тащится на Урал, и зачем?.. Как бы вы думали? Приехал *удить рыбу*. Ну, скажите ради бога, это ли не идиотство?

– Гм... да... Но ведь у Оскара Филипыча, кажется, очень хорошее место в Петербурге?

– Да, благодаря сестре Гертруде получает ни за что тысячу пять, – что же делать? Идиот!.. Наберет с собой моих мальчишек и целые дни удит с ними рыбу.

– Скажите, какой странный характер...

– Да просто глупость, Хиония Алексеевна...

– Мне кажется странным, что появление Оскара Филипыча совпало с приходом Привалова...

– Ах, вы, Хиония Алексеевна, кажется, совсем помешались на своем Привалове... Помилуйте, какое может быть отношение, когда брат просто глуп? Самая обыкновенная история...

Эти разговоры заканчивались иногда стереотипным рассуждением о «гордеце».

– Конечно, он вам зять, – говорила Хиония Алексеевна, откидывая голову назад, – но я всегда скажу про него: Александр Павлыч – гордец... Да, да. Лучше не защищайте его, Агриппина Филиппьевна. Я знаю, что он и к вам относится немного критически... Да-с. Что он директор банка и приваловский опекун, так и, господи боже, рукой не достанешь! Ведь не всем же быть директорами и опекунами, Агриппина Филиппьевна?

Теперь к этому рассуждению о гордеце пристегивалось такое заключение:

– Хотя Александр Павлыч и зять вам, Агриппина Филиппьевна, но я очень рада, что Привалов поубавит ему спеси... Да-с, очень рада. Вы, пожалуйста, не защищайте своего зятка, Агриппина Филиппьевна.

– Я и не думаю, Хиония Алексеевна.

– Вот еще Ляховский... Разжился фальшивыми ассигнациями да краденым золотом, и черту не брат! Нет, вот теперь до всех вас доберется Привалов... Да. Он даром что таким выглядит тихоньким и, конечно, не будет иметь успеха у женщин, но Александра Павлыча с Ляховским подтянет. Знаете, я слышала, что этого несчастного мальчика, Тита Привалова, отправили куда-то в Швейцарию и сбросили в пропасть. Как вы думаете, чьих рук это дельце?

Агриппина Филиппьевна ничего не находила сказать на этот слишком смелый вопрос, а Хиония Алексеевна отвечала сама:

– Конечно, Ляховский!.. Это ясно, как день. Он на все способен.

– Я не понимаю, какая цель могла быть в таком случае у Ляховского? Nicolas говорил, что в интересе опекунов иметь Тита Привалова налицо, иначе последует раздел наследства, и конец опеке.

– Пустяки, пустяки... Я знаю, что это дело Ляховского, а ваш Nicolas обманывает. Ведь я знаю, mon ange, зачем Nicolas приезжал тогда к Привалову...

– Вы знаете, Хиония Алексеевна, что я никогда не вмешиваюсь в дела Nicolas, – это мой принцип.

¹⁶ Она так невинна, что почти ничего не понимает... (фр.)

– А я все-таки знаю и желаю, чтобы Nicolas хорошенько подобрал к рукам и Привалова и опекунов... Да. Пусть Бахаревы останутся с носом и любят свою Nadine, а мы женим Привалова на Алле... Вот увидите. Это только нужно повести дело умненько: tete-a-tete,¹⁷ маленький пикник, что-нибудь вроде нервного припадка... Ведь эти мужчины все дураки: увидели женщину, – и сейчас глаза за корсет. Вот мы...

– Нет, Хиония Алексеевна, позвольте вам заметить, – возражала с достоинством Агриппина Филиппьевна, – вы так говорите о моей Алле, будто она какая-нибудь Христова невеста.

– Ах, я пошутила, Агриппина Филиппьевна. Но за всем тем я мое дело знаю...

¹⁷ свидание наедине (*фр.*).

II

Привалов приехал к Веревкину утром. У чистенького подъезда он встретил толпу оборванных мужиков, которые сняли шапки и почтительно дали ему дорогу. Они все время оставались без шапок, пока Привалов дожидался лакея, отворившего парадную дверь.

– А нам бы Миколая Иваныча... – вытягивая вперед шею и неловко держа плечами, заговорил кривой мужик, когда в дверях показался лакей с большой лысиной на макушке.

– Они дома-с... – почтительно докладывал он, пропуская Привалова на лестницу с бархатным ковром и экзотическими растениями по сторонам. Пропустив гостя, он захлопнул дверь под носом у мужиков. – Прут, сиволапые, прямо в двери, – ворчал он, забегая немного вперед Привалова.

Пока лакей ходил с докладом в кабинет Веревкина, Привалов оставался в роскошной гостиной Агриппины Филипповны. От нечего делать он рассматривал красивую ореховую мебель, мраморные вазы, красивые драпировки на дверях и окнах, пестрый ковер, лежавший у дивана, концертную рояль у стены, картины, – все было необыкновенно изящно и подобрано с большим вкусом; каждая вещь была поставлена так, что рекомендовала сама себя с самой лучшей стороны и еще служила в то же время необходимым фоном, объяснением и дополнением других вещей. Самый опытный взгляд, вероятно, не открыл бы рокового *un question d'argent*,¹⁸ который лежал в основании всей этой художественной обстановки. Жалкая ложь была самым искусным образом прикрыта богатой мебелью и мягкими коврами, служившими продолжением любезных улыбок и аристократических манер самой хозяйки.

– Милости просим, пожалуйста... – донесся откуда-то из глубины голос Веревкина, а скоро показалась и его на диво сколоченная фигура, облаченная теперь в какой-то полосатый татарский халат. – Уж вы извините меня, батенька, – комично оправдывался Веревкин, подхватывая Привалова под руку. – Вы застали меня, можно сказать, на самом месте преступления... Дельце одно нужно было кончить, так в халате-то оно свободнее. Как надену проклятый сюртук, – мыслей в голове нет. Я сейчас, Сергей Александрович... Обождите единую минуточку.

Веревкин поспешно скрылся за низенькой японской ширмочкой, откуда через минуту до Привалова донеслось сначала тяжелое сопенье носом, а потом какое-то забавное фырканье. Можно было подумать, что за ширмочкой возится стадо тюленей или закладывают лошадь. Кабинет Веревкина был обставлен, как всякий адвокатский кабинет: мебель во вкусе трактирной роскоши, голые красавицы на стенах, медвежья шкура у письменного стола, пикантные статуэтки из терракоты на столе и т. д. Некоторое исключение представлял графин водки, поставленный вместе с обедками балыка на круглом столике у самого письменного стола. Рассматривая эту обстановку, Привалов думал о своем последнем разговоре с Васильем Назарычем. К Ляховскому в тот день Привалов, конечно, не поехал, как и в следующий за ним. Ему было слишком тяжело и без того. В течение трех дней у Привалова из головы не выходила одна мысль, мысль о том, что Надя уехала на Шатровские заводы. Ему страшно хотелось самому сейчас же уехать на заводы, но его задержала мысль, что это походило бы на погоню и могло поднять в городе лишние толки. Да и опекунов необходимо было видеть, чтобы явиться к Косте не с пустыми руками. Привалов остановился на Половодове, потому что он был ближе к Веревкину и от него удобно было получить некоторые предварительные сведения, прежде чем ехать к Ляховскому.

– Водку пили? – спрашивал Веревкин, выставляя из-за ширмы свою кудрявую голову. – Вот тут графин стоит... Одолжайтесь. У меня сегодня какая-то жажда...

– Благодарю, – отозвался Привалов.

¹⁸ денежного вопроса (*фр.*).

В это время дверь в кабинет осторожно отворилась, и на пороге показался высокий худой старик лет под пятьдесят; заметив Привалова, старик хотел скрыться, но его остановил голос Веревкина:

– Это ты, папахен?.. Здесь свои... Сергей Александрыч, рекомендую: мой родитель, развинтился плотию, но необыкновенно бодр духом. Вообще, молодец старичина... Водки хочешь, папахен?

– Очень и очень приятно, – немного хриплым голосом проговорил Иван Яковлич, нерешительно пожимая руку Привалова своей длинной, женского склада рукой. – Весь город говорит о вашем приезде, – прибавил Иван Яковлич, продолжая пожимать руку Привалова. – Очень и очень приятно...

Длинная тощая фигура Ивана Яковлича, с согнутой спиной и тонкими ногами, не давала никаких оснований предположить, что Nicolas Веревкин был кость от кости, плоть от плоти именно такой подвижнической фигуры. Небольшая головка была украшена самою почтенною лысиною, точно все волосы на макушке были вылизаны коровой или другим каким животным, обладающим не менее широким и длинным языком; эта оригинальная головка была насажена на длинную жилистую шею с резко выдававшимся кадыком, точно горло было завязано узлом. Неправильный нос, густые брови, выцветшие серые глаза и жиденькие баки придавали физиономии Ивана Яковлича такое выражение, как будто он постоянно к чему-то прислушивался. Одет он был в длинный английского покроя сюртук; на одной руке оставалась не снятой палева новенькая перчатка. Когда Веревкин показался наконец из-за ширмы в светло-желтой летней паре из чечунчи, Иван Яковлич сделал озабоченное лицо и проговорил с своей неопределенной улыбкой:

– А я было зашел к тебе, Nicolas, по одному делу...

– Опять, видно, продулся?

Иван Яковлич сделал беспокойное движение плечами и покосился в сторону Привалова.

– Не беспокойся, папахен: Сергей Александрыч ведь хорошо знает, что у нас с тобой нет миллионов, – добродушно басил Nicolas, хлопая Ивана Яковлича по спине. – Ну, опять продулся?

– Н... нет, то есть нужно расквитаться с одним карточным долгом... Я думал...

– Ну, папахен, ты как раз попал не в линию; у меня на текущем счету всего один трехрублевый билет... Возьми, пригодится на извозчика.

– Нет, я, собственно, не нуждаюсь, но этот Ломтев пристал с ножом к горлу... На нем иногда точно бес какой поедет, а между тем я ждал за ним гораздо дольше.

– Да, да, папахен; мы с тобой вообще много страдаем от людской несправедливости... Так ты водки не хочешь, папахен?

Иван Яковлич великодушно отказался и от водки и от трехрублевого билета и удалился из кабинета такими же неслышными шагами, как вошел; Веревкин выпил рюмку водки и добродушно проговорил:

– Отличный старичина, только вот страстишка к картишкам все животы подводит. Ну что, новенького ничего нет? А мы с вами сегодня сделаем некоторую экскурсию: перехватим сначала кофе у мутерхен, а потом закатимся к Половодову обедать. Он, собственно, отличный парень, хоть и врет любую половину.

III

Привалов ожидал обещанного разговора о своем деле и той «таинственной нити», на которую намекал Веревкин в свой первый визит, но вместо разговора о нити Веревкин схватил теперь Привалова под руку и потащил уже в знакомую нам гостиную. Агриппина Филиппевна встретила Привалова с аристократической простотой, как владетельная герцогиня, и с первых же слов подарила полдюжиной самых любезных улыбок, какие только сохранились в ее репертуаре.

– Мы, мутерхен, насчет кофеев, – объяснил Nicolas, грузно опускаясь в кресло.

Агриппина Филиппевна посмотрела на своего любимца и потом перевела свой взгляд на Привалова с тем выражением, которое говорило: «Вы уж извините, Сергей Александрыч, что Nicolas иногда позволяет себе такие выражения...» В нескольких словах она дала заметить Привалову, что уже кое-что слышала о нем и что очень рада видеть его у себя; потом сказала два слова о Петербурге, с улыбкой сожаления отозвалась об Узле, который, по ее словам, был уже на пути к известности, не в пример другим уездным городам. Привалов отвечал то, что отвечают в подобных случаях, то есть спешил согласиться с Агриппиной Филиппевной, порывался вставить свое слово и одобрительно-почтительно мычал. В заключение он не мог не почувствовать, что находится в самых недрах узловского beau monde'a и что Агриппина Филиппевна – дама с необыкновенно изящными аристократическими манерами. Агриппина Филиппевна, с своей стороны, вывела такое заключение, что хотя Привалов на вид немного мужиковат, но относительно вопроса, будет или не будет он иметь успех у женщин, пока ничего нельзя сказать решительно.

Этот интересный разговор, походивший на испытание Привалова по всем пунктам, был прерван восклицанием Nicolas:

– А вот и дядюшка!..

В дверях гостиной, куда оглянулся Привалов, стоял не один дядюшка, а еще высокая, худощавая девушка, которая смотрела на Привалова кокетливо прищуренными глазами. «Вероятно, это и есть барышня с секретом», – подумал Привалов, рассматривая теперь мало-российский костюм Аллы. Дядюшка Оскар Филиппыч принадлежал к тому типу молодящихся старичков, которые постоянно улыбаются самым сладким образом, ходят маленькими шажками, в качестве старых холостяков любят дамское общество и непременно имеют какую-нибудь странность: один боится мышей, другой не выносит каких-нибудь духов, третий целую жизнь подбирает коллекцию тросточек разных исторических эпох и т. д. Оскар Филиппыч, как мы уже знаем, любил удить рыбу и сейчас только вернулся с Аллой откуда-то с облюбованного местечка на реке Узловке, так что не успел еще снять с себя своего летнего парусинового пальто и держал в руках широкополую соломенную шляпу. Привалов пожал маленькую руку дядюшки, который чуть не растаял от удовольствия и несколько раз повторил:

– Да, да... я слышал о вашем приезде... да!..

– Моя вторая дочь, Алла, – певуче протянула Агриппина Филиппевна, когда дядюшка поместился с своими улыбками на диване.

Привалов раскланялся, Алла ограничилась легким кивком головы и заняла место около мамаша. Агриппина Филиппевна заставила Аллу рассказать о нынешней рыбной ловле, что последняя и выполнила с большим искусством, то есть слегка картавым выговором передала несколько смешных сцен, где главным действующим лицом был дядюшка.

Появилось кофе в серебряном кофейнике, а за ним вышла красивая мамка в голубом кокошнике с маленьким Вадимом на руках.

– Обратите внимание, Сергей Александрыч, на это произведение природы, – говорил Nicolas, принимая Вадима к себе на руки. – Ведь это мой брат Вадишка...

– Ах, Nicolas, – кокетливо отозвалась Агриппина Филиппьевна, – ты всегда скажешь что-нибудь такое...

– Я, кажется, ничего *такого* не сказал, мутерхен, – оправдывался Nicolas, высоко подбрасывая кверху «произведение природы», – иметь младших братьев в природе вещей...

– О, совершенно в природе! – согласился дядюшка, поглаживая свое круглое и пухлое, как у танцовщицы, коленко. – Я знал одну очень почтенную даму, которая...

Публика, собравшаяся в гостиной Агриппины Филиппьевны, так и не узнала, что сделала «одна очень почтенная дама», потому что рассказ дядюшки был прерван каким-то шумом и сильной возней в передней. Привалов расслышал голос Хионии Алексеевны, прерываемый чьим-то хриплым голосом.

– Ах, это Аника Панкратыч Лепешкин, золотопромышленник, – предупредила Привалова Агриппина Филиппьевна и величественно поплыла навстречу входившей Хионии Алексеевне. Дамы, конечно, громко расцеловались, но были неожиданно разлучены седой толстой головой, которая фамильярно прильнула губами к плечу хозяйки.

– Как вы меня испугали, Аника Панкратыч...

– Не укушу, Агриппина Филиппьевна, матушка, – хриплым голосом заговорил седой, толстый, как бочка, старик, хлопая Агриппину Филиппьевну все с той же фамильярностью по плечу. Одет он был в бархатную поддевку и ситцевую рубашку-косоворотку; суконные шаровары были заправлены в сапоги с голенищами бутылкой. – Ох, уморился, отцы! – проговорил он, взмахивая короткой толстой рукой с отекавшими красными пальцами, смотревшими врозь.

Кивнув головой Привалову, Хиония Алексеевна уже обнимала Аллу, шепнув ей мимоходом: «Как вы сегодня интересны, *mon ange*...» Лепешкин, как шар, подкатился к столу. Агриппина Филиппьевна отрекомендовала его Привалову.

– А мы тятеньку вашего, покойничка, знавали даже очень хорошо, – говорил Лепешкин, обращаясь к Привалову. – Первеющий человек по нашим местам был... Да-с. Ноньче таких и людей, почитай, нет... Малодушный народ пошел ноньче. А мы и о вас наслышаны были, Сергей Александрыч. Хоть и в лесу живем, а когда в городе дрова рубят – и к нам щепки летят.

Лепешкин приложил свое вспотевшее, оплывшее лицо к ручке Аллы, поздоровался с дядюшкой, хлопнув его своей пятерней по коленку, и проговорил, грузно опускаясь в кресло:

– Ох, изморился я, отцы... Жарынь!.. Кваску бы испить, Агриппина Филиппьевна?..

– А ты ступай в кабинет ко мне, – предлагал Nicolas. – Там найдешь, чем червячка заморить.

– Нно-о?.. и безногого щенка подковать можно?

– Конечно, можно.

– А вот мы уже с его преподобием... – проговорил Лепешкин, поднимаясь навстречу подходившему на своих тоненьких ножках Ивану Яковличу. – Старичку наше почтение...

– Пойдем, пойдем, – отвечал Иван Яковлич, подхватывая Лепешкина под руку; рядом они очень походили на цифру десять.

– Какой забавный этот Аника Панкратыч, – проговорила Агриппина Филиппьевна, когда цифра десять скрылась в дверях. – Алла, принеси Анике Панкратычу квасу, – прибавила она. – Он так всегда балует тебя.

– Ведь Лепешкин очень умен, – вставила свое слово Хиония Алексеевна. – Он только прикидывается таким простачком... Простой мужик – и нажил сто тысяч. Да, очень, очень умен!

В это время в кабинете Nicolas происходила такая сцена:

– Голубчик, Аника Панкратыч, выручи, – умолял Иван Яковлич, загнав Лепешкина в самый угол. – Дай мне, душечка, всего двести рублей... Ведь пустяки: всего двести рублей!.. Я тебе их через неделю отдам.

– Знаем мы вашу неделю, ваше преподобие, – грубо отвечал Лепешкин, вытирая свое сыромятное лицо клетчатым бумажным платком. – Больно она у тебя долга, Иван Яковлич, твоя неделя-то.

– Хочешь, на колени перед тобой встану, – только выручи...

– А ты как полагаешь: у меня для вашего брата вроде как монетный двор налажен?

– Голубчик, Аника Панкратыч, не ломайся... Ведь всего двести рублей!! Хочешь, сейчас вексель в четыреста рублей подпишу?

– Нет, зачем пустое говорить... Мне все едино, что твой вексель, что прошлогодний снег! Уж ты, как ни на есть, лучше без меня обойдись...

– Ах, старый черт!.. – застонал Иван Яковлич, схватившись за голову. – Ведь всего двести рублей... ломается...

– Да на што тебе деньги-то?

– Ах, господи, господи! Помнишь ирбитских купцов, с которыми в «Магните» кутили? Ну, сегодня они будут у Ломтева... Понимаешь?

– Как не понять!.. Даже очень хорошо понимаю. Обыграете хоть кого...

– Отчего же денег не даешь?

– Жаль... Актрысам свезешь.

– Аника Панкратыч, голубчик!.. – умолял Иван Яковлич, опускаясь перед Лепешкиным на колени. – Ей-богу, даже в театр не загляну! Целую ночь сегодня будем играть. У меня теперь голова свежая.

– На што свежее, коли денег нет. Это завсегда так бывает с вашим братом.

– Зарываться не буду и непременно выиграю. Ты только одно пойми: ирбитские купцы... Ведь такого случая не скоро дождешься!.. Да мы с Ломтевым так их острижем...

– Знаю, что острижете, – грубо проговорил Лепешкин, вынимая толстый бумажник. – Ведь у тебя голова-то, Иван Яковлич, золотая, прямо сказать, кабы не дыра в ней... Не стоял бы ты на коленях перед мужиком, ежели бы этих своих глупостей с женским полом не выкидывал. Да... Вот тебе деньги, и чтобы завтра они у меня на столе лежали. Вот тебе мой сказ, а векселей твоих даром не надо, – все равно на подтопку уйдут.

Иван Яковлич ничего не отвечал на это нравоучение и небрежно сунул деньги в боковой карман вместе с шелковым носовым платком. Через десять минут эти почтенные люди вернулись в гостиную как ни в чем не бывало. Алла подала Лепешкину стакан квасу прямо из рук, причем один рукав сбился и открыл белую, как слоновою костью, руку по самый локоть с розовыми ямочками, хитрый старик только прищурил свои узкие, заплывшие глаза и проговорил, принимая стакан:

– Вот уж что хорошо, так хорошо... люблю!.. Уважила барышня старика... И рубашечка о семи шелках, и сарафанчик-расстегайчик, и квасок из собственных ручек... люблю за хороший обычай!..

Привалов еще раз имел удовольствие выслушать историю о том, как необходимо молодым людям иметь известные удовольствия и что эти удовольствия можно получить только в Общественном клубе, а отнюдь не в Благородном собрании. Было рассказано несколько анекдотов о членах Благородного собрания, которые от скуки получают морскую болезнь. Хиония Алексеевна вернула словечко о «гордеце» и Ляховском, которые, конечно, очень богатые люди, и т. д. Этот беглый разговор необыкновенно оживился, когда тема незаметно скользнула на узловских невест.

– Какое прекрасное семейство Бахаревых, – сладко закатывая глаза, говорила Хиония Алексеевна, – не правда ли, Сергей Александрыч?

– О да, – протянула Агриппина Филиппевна с приличной важностью. – Nadine Бахарева и Sophie Ляховская у нас первые красавицы... Да. Вы не видали Sophie Ляховской? Замеча-

тельно красивая девушка... Конечно, она не так умна, как Nadine Бахарева, но в ней есть что-то такое, совершенно особенное. Да вот сами увидите.

– Ведь Nadine Бахарева уехала на Шатровский завод, – сообщила Хиония Алексеевна, не глядя на Привалова. – Она ведет все хозяйство у брата... Очень, очень образованная девушка.

– Она, кажется, училась у доктора Сараева? – спрашивала Агриппина Филиппьевна.

– О да... Вместе с Sophie Ляховской. Сначала они занимались у доктора, потом у Лоскутова.

– Скажите... – протянула Агриппина Филиппьевна. – А ведь я до сих пор еще не знала об этом.

– Да, да... Лоскутов и теперь постоянно бывает у Ляховских. Говорят, что замечательный человек: говорит на пяти языках, объездил всю Россию, был в Америке...

– Ну, теперь дело дошло до невест, следовательно, нам пора в путь, – заговорил Nicolas, поднимаясь. – Мутерхен, ты извинишь нас, мы к славянофилу завернем... До свидания, Хиония Алексеевна. Мы с Аникой Панкратычем осенью поступаем в ваш пансион для усовершенствования во французских диалектах... Не правда ли?

На прощанье Агриппина Филиппьевна даже с некоторой грустью дала заметить Привалову, что она, бедная провинциалка, конечно, не рассчитывает на следующий визит дорогого гостя, тем более что и в этот успела наскучить, вероятно, до последней степени; она, конечно, не смеет даже предложить столичному гостю завернуть как-нибудь на один из ее четвергов.

– Нет, я непременно буду у вас, Агриппина Филиппьевна, – уверял Привалов, совершенно подавленный этим потоком любезностей. – В ближайший же четверг, если позволите...

– Он непременно придет, мутерхен, – уверял Nicolas. – Мы тут даже сочиним нечто по части зеленого поля...

«Отчего же не прийти? – думал Привалов, спускаясь по лестнице. – Агриппина Филиппьевна, кажется, такая почтенная дама...»

Когда дверь затворилась за Приваловым и Nicolas, в гостиной Агриппины Филиппьевны несколько секунд стояло гробовое молчание. Все думали об одном и том же – о приваловских миллионах, которые сейчас вот были здесь, сидели вот на этом самом кресле, пили кофе из этого стакана, и теперь ничего не осталось... Дядюшка, вытянув шею, внимательно осмотрел кресло, на котором сидел Привалов, и даже пощупал сиденье, точно на нем могли остаться следы приваловских миллионов.

– Ах, ешь его мухи с комарами! – проговорил Лепешкин, нарушая овладевшее всеми раздумье. – Четыре миллиона наследства заполучил... а? Нам бы хоть понюхать таких деньжищ... Так, Оскар Филиппыч?

– О да... совершенно верно: хоть бы понюхать, – сладко согласился дядюшка, складывая мягким движением одну ножку на другую. – Очень богатые люди бывают...

– Вот бы нам с тобой, Иван Яковлич, такую уйму денег... а? – говорил Лепешкин. – Ведь такую обедню отслужили бы, что чертям тошно...

Иван Яковлич ничего не отвечал, а только посмотрел на дверь, в которую вышел Привалов «Эх, хоть бы частичку такого капитала получить в наследство, – скромно подумал этот благочестивый человек, но сейчас же опомнился и мысленно прибавил: – Нет, уж лучше так, все равно отобрали бы хористки, да арфистки, да Марья Митревна, да та рыженькая... Ах, черт ее возьми, эту рыженькую... Препикантная штучка!...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.